

Наринэ Абгарян

ДАЛЬШЕ ЖИТЬ

Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет

Annotation

Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет.

«Писать о войне – словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь – предашь самое себя.

Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось.

Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее несокрушимая правда.

В это нужно обязательно верить, чтобы дальше – жить».

- [Наринэ Абгарян](#)
 -
 - [Вместо предисловия](#)
 - [Мерелоц](#)
 - [Колготки](#)
 - [Узелок](#)
 - [Багардж](#)
 - [Одиночество](#)
 - [Жить](#)
 - [Пахлава](#)
 - [Гулпа](#)
 - [Ковер](#)
 - [Долина](#)
 - [Ожидание](#)
 - [Лето](#)
 - [Молитва](#)
 - [Возвращение](#)
 - [Тост](#)
 - [Хачкар](#)
 - [Гроза](#)
 - [Голод](#)
 - [Кружева](#)
 - [Стадо](#)
 - [Прогулка](#)

- [Ботинки](#)
- [Выбор](#)
- [Сердце](#)
- [Молчание](#)
- [Смех](#)
- [Бессмертник](#)
- [Вина](#)
- [Спасение](#)
- [Туманы](#)
- [Вместо послесловия](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)

- [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
-

Наринэ Абгарян

Дальше жить

© Наринэ Абгарян, текст, 2017

© Сона Абгарян, иллюстрации, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Вместо предисловия

Заназан

– Заназан! Ай Заназан! Хочешь грушу?

У Заназан длинные ресницы и сиреневые глаза. Волосы густые, медные, без седины. Вьются непокорными локонами у висков.

Протягиваю ей грушу. Смотрит сквозь, не отводит взгляда.

– Возьми грушу, Заназан.

Качает головой.

У Заназан оливковая кожа в рыжую крапушку. Она у нас необыкновенная, второй такой нет.

– Чем же мне тебя угостить?

Прикрывает рот тыльной стороной ладони – линия жизни нечеткая, короткая, обрывается на половине пути.

– Заназан?

– М?

– Поговори со мной.

Молчит. Пальцы бледные, длинные, на указательном левой руки – простенькое кольцо. Стоит, забавно скрестив ноги. На лодыжке – царапина полумесяцем.

– Когда успела пораниться?

Водит плечом. Улыбается рассеянno, словно в себя.

Хочется обнять, прижать к груди, но нельзя. Заназан не любит, когда к ней прикасаются.

– Если бы умела, написала бы твой портрет.

Смотрит недоверчиво. Поколебавшись, берет грушу.

– Скажи мне что-нибудь, Заназан.

Уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Мысленным взором слежу, как она спускается по ступенькам – один лестничный пролет, второй. Выныривает из подъездной стыни в залитый солнцем двор.

– Заназан! Ай Заназан! – зовет детвора.

Заназан идет, не оборачивается. Коса перекинута через плечо, кончик стянут смешной резинкой.

Войну она встретила беременной. Схватки случились в бомбежку. Скорую не вызовешь – телефоны молчат, у соседей помощи не попросишь – зачем заставлять людей жизнью рисковать. Терпела до последнего. Когда боль стала невыносимой – собрались с мужем и пошли в больницу. Мужа посекло осколками навывлет, ребенка не спасли. – Заназан! Ай Заназан! – зовет детвора.

Она идет, не оборачивается.

Живут вдвоем со старенькой свекровью.

– На кого я тебя оставляю, когда уйду? – плачет свекровь.

Заназан улыбается кротко, безмятежно. Протягивает ей грушу.

– М-м-м-м.

У нее длинные густые ресницы и сиреневые глаза. Кто-нибудь видел сиреневые глаза? Я видела. У Заназан.

Мерелоц



Гинаманц Метаксия выходит из дому спозаранку, когда рассвет только занимается. Стая деревенских ласточек, вспорхнув с кипарисовой роци, кружит в выси, черкая по стремительно светлеющему небесному полотну острыми крыльями. Бесшумно падает первая роса – густая, живительная, – выпроваживает ночь. Спутав время, заводит протяжную песнь сверчок: тррррю, тррррю, тррррю.

– Доброе утро, горемычный, – мысленно здоровается с ним Метаксия. Сверчок, будто услышав ее, обрывает себя на полувздохе,

притихает.

Сегодня Мерелоц^[1]. По традиции, люди сначала ходят на поминальную службу и только потом навещают могилы. Метаксия раньше тоже следовала традиции, но однажды решила, что негоже оставлять визит к усопшим на потом: к чему им литургия, когда они находятся в том из миров, где все людское не имеет значения. Потому правильнее было бы, рассудила она, в день поминовения сперва навеститься на кладбище и только потом заниматься другими делами. Чтоб развеять сомнения, она сходила за советом к священнику. Тот, выслушав ее, закивал, соглашаясь – делай, как считаешь нужным, и если тебе спокойнее так... Метаксии было спокойнее так.

Идти до кладбища далеко. Мощенная речным камнем дорога петляет среди домов, а далее, резко вильнув, карабкается вверх по склону холма, туда, где, тесно прижимаясь друг к другу низкими оградками, множатся и множатся последние пристанища бердцев. Люди уходят так, словно соревнуются. Кажется, совсем недавно могила Размика была крайней, а теперь к ней через три ряда пробираться. Метаксия нашла ему такое место, чтобы простор и много неба. Попросила положить справа, под сенью плакучей ивы. Слева, когда придет время, положат ее, она уже договорилась и даже деньги вперед могильщику Цатуру отдала. Цатур отнекивался, но она настояла: «Посмотри на себя – кожа да кости. Вдруг смерть меня зимой, в самый холод, заберет. Откуда ты силы возьмешь, чтоб смерзшуюся землю копать? А так нальешь себе тарелку фасолевого супа, заправишь свиными шкварками, запьешь стопочкой кизиловки... И тебе хорошо, и мне приятно, ведь получается, что это я тебя угощаю!» Цатур деньги взял, но следующей весной явился к Метаксии и вскопал огород. «Не в силах с лопатой расстаться?» – пошутила она. «Сроднился с ней», – криво усмехнулся Цатур, налегая плечом на черенок.

Так и ходит который год. Вскопает огород весной, осенью с уборкой картошки и кукурузы поможет. Метаксия сначала увещевала не делать этого, потом смирилась. Раз приходит, значит, надо. В благодарность она детям Цатура шапки с большими помпонами вяжет. У него их трое, мал мала меньше. Смотрятся в этих разноцветных шапках веселыми гномиками.

На кладбище такая тишина, что ее не нарушает даже переливчатое пение дроздов. Метаксия прибирается на могиле с большой

тщательностью: моет и насухо протирает ограду, пропалывает сорняки, поливает цветы. Когда очищает камень от пыли и дождевых разводов, даты рождения и смерти проступают молчаливым укором. Она задерживает дыхание дольше, чем хватает сил. Разве можно смириться с уходом молодых? Семнадцать лет, жить и жить.

Закончив с уборкой, отсыпает в поминальную чашу крупы ладана, осторожно чиркает спичкой. Пока утренний ветер рассеивает сладковатый душный дым, Метаксия сидит на низенькой лавочке и, сложив на коленях руки, смотрит за горизонт. Там, за дальним согбенным холмом, осталась могила ее мужа: не докричаться, не долететь. Кто же мог подумать, что выпавшее на ее долю счастье окажется таким коротким! Она выросла в любящей семье – отец, мать, три старших брата. О замужней жизни не мечтала – не повезло с внешностью: большеногая, с косящим глазом и безгубым ртом. Смирившись со своей одинокой участью, нянчилась с племянниками, которых любила больше жизни. Но, справив сорок лет, неожиданно для себя вышла замуж – за отца Размика. Переехала через границу в его родную Омарбейли, пять армянских семей на семьдесят азербайджанских. Размику было тринадцать, трудный колючий возраст, отец с ним не справлялся. В деревне к нему относились с жалостью – бедный сирота, мало того, что мать потерял, так отец почти сразу на другой женился. Где это видано, чтобы мачеха пасынка любила?! Заимеет своего – примется парня со свету сживать. Метаксия внимания на разговоры не обращала, но в глубине души тоже опасалась, что, родив своего ребенка, отвернется от Размика. Потому так и не решилась забеременеть. Через четыре года не стало мужа – ушел среди ночи от разрыва сердца, закричал от дикой боли, выгнулся, задев ее локтем, – и притих. Размик наотрез отказался переезжать в Армению, хотя Метаксия об этом очень просила. «Куда я поеду, у меня школа, выпускной класс!» – возмутился он. Она уступила, но взяла с него слово, что они переедут, когда он поступит в институт. Размик согласился, но с условием, что она перенесет могилу его родителей в Берд. Она обиделась не на шутку: как ты мог подумать, что я оставлю их здесь! Он обнял ее, заплакал. С того дня стал называть второй мамой. Иногда просто Второй. Она, отшучиваясь, называла его Первым. Так и жили, переключаясь: Первый – Вторая, Вторая – Первый.

Когда случилась война, в приграничных деревнях особо не тревожились – люди десятилетиями дружили семьями, ездили друг к другу в гости. Война где-то там, далеко, нас она не коснется, не сомневались они. Дай-то бог, соглашалась Метаксия. Потому она и уехала навестить прихворнувшую мать со спокойным сердцем. Только еды наготовила и попросила соседку выстиранное белье с веревок собрать – Размик все равно запомнит. Поздней ночью пришла весть, что в Омарбейли неспокойно: с границы слышны выстрелы и видно, как горят некоторые дома. Выбраться туда удалось лишь через два дня. Дом стоял, целый и невредимый, разве что ворота погнулись от удара чем-то тяжелым. Метаксия провела пальцами по вмятине, с недоумением ощущая царапающее прикосновение покореженного металла. На бельевых веревках висело пересохшее заскорузлое белье. В доме стояла такая тишина, что можно было услышать биение собственного сердца. Размика нигде не было, но он нашелся, на заднем дворе – наспех закиданный комьями земли и садовым инвентарем. Метаксия собрала с его лица землю, подержала в руках. Не давая себе отчета в том, что творит, съела горстку, давясь от ужаса и боли, остальное высыпала себе за пазуху. Затопила печь, поставила греться воду. Вытащила из погреба большой таз, в котором замачивала шерсть. Уложила туда Размика. Мыла осторожно, не дыша – словно боялась разбудить. Сообразив, что никогда раньше не видела его голым, заговорила шепотом, скрывая смущение: «Какой ты статный, мой мальчик, какое у тебя красивое тело. Какое все у тебя ладное – для жизни, для радости, для счастья. Если бы не рана в животе... но я ее перевяжу, чтоб она не портила твоей красоты. Одну тебя в костюм, который купили к школьному выпускному. Зачешу назад непослушные волосы – ты никогда не давался, вертел головой, строил гримасы – не трогай, и так сойдет! У тебя высокий, чистый лоб, а ты не хотел его открывать...»

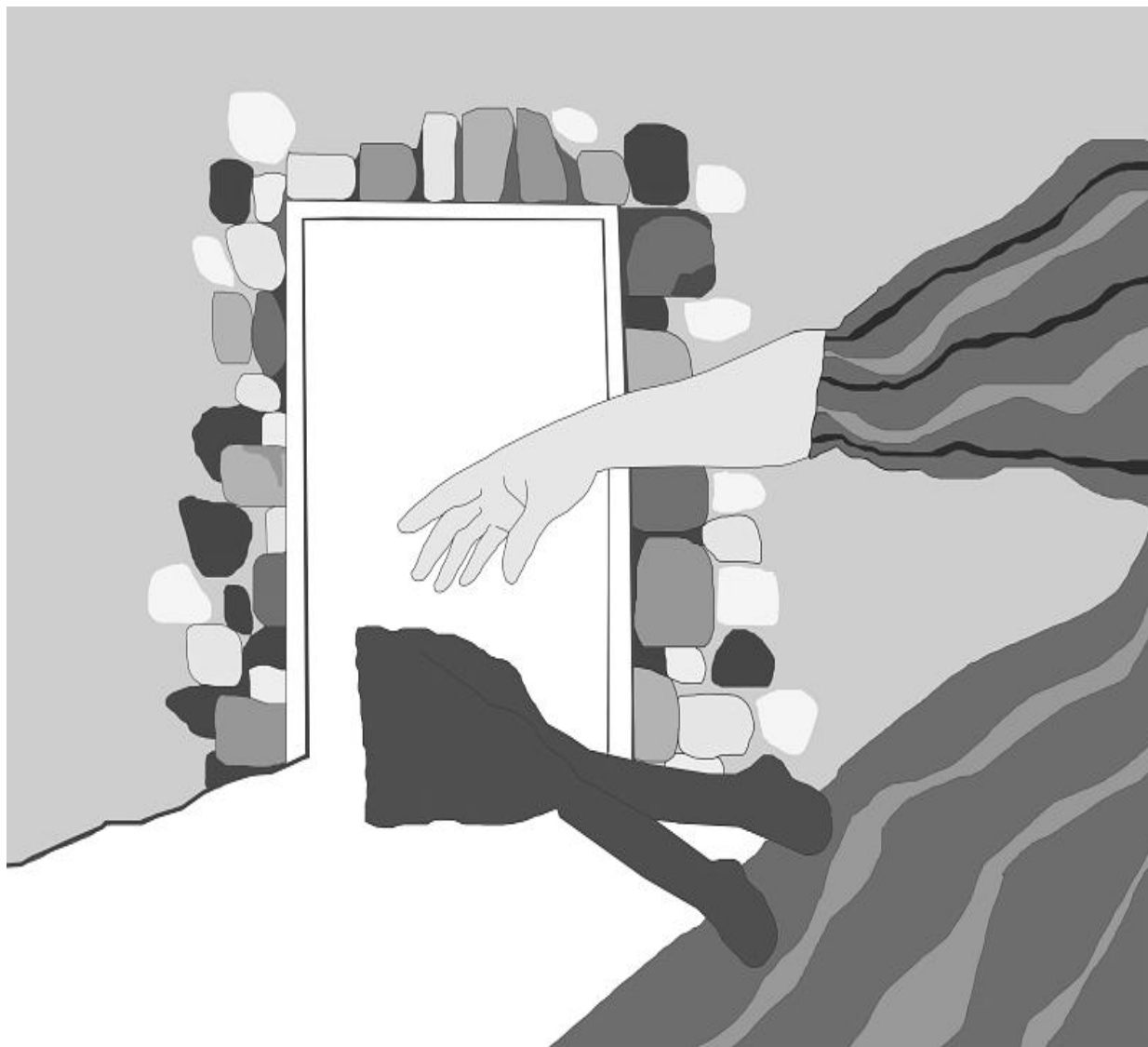
От туфель пришлось отказаться, на раздробленные ступни они не налезали. «Убивать ведь тоже можно так, чтобы без мучений. Мучить-то зачем?» – шептала Метаксия, обматывая ступни Размика полотенцем. Вытащила из сарая тележку, застелила мягким пледом, уложила его туда – и покатила со двора. Соседские дома провожали ее глухим молчанием. Метаксия ни разу не обернулась, чтобы удостоить

их прощального взгляда. Прощаются с теми, кому есть что сказать. Им ей сказать было нечего.

Порыв ветра принес с собой острый запах хвои и далекий голос разбуженной селем реки. Солнце, едва выглянув из-за Девичьей скалы, зазолотило небо – от макушки до пят. Метаксия со вздохом поднялась, закрыла поминальную чашу, убрала в нишу. Оставила в изголовье могилы ломоть домашнего хлеба – небесным ангелам. Попрощалась, попросила не волноваться и не скучать – Размик-джан, на той неделе снова приду. Ушла, аккуратно прикрыв за собой калитку ограды.

Берд просыпался смехом детей, покашливанием мужчин, шепотом женщин. Метаксия спускалась по склону, вбирая полной грудью дыхание утра. Надо было спешить – скоро начнется служба по усопшим. Мертвым она, конечно же, без надобности. Живым она нужней.

Колготки



В феврале Майинанц Цатуру исполнилось столько лет, сколько было отцу, когда он уходил на фронт. Цатур до сих пор помнил, как мать, повиснув на отцовой шее, мотала головой и молила осипшим от плача голосом: не надо, не пуцу. Босые ее ноги болтались в воздухе – она была маленького роста, едва доставала мужу до плеча: худенькая, почти прозрачная, легкая, словно перышко. Соседи ее называли кукла Арусяк – за красоту и хрупкость. Все удивлялись, откуда столько изящества в простой деревенской женщине, вроде и в поле работает, и в

реке белье полощет, а выглядит, словно фарфоровая статуэтка: нежная, тонкая, нездешняя. Цатуру тогда было четырнадцать, он стоял, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: забери ее. Цатур бережно подхватил под мышками мать, потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди.

– Береги девочек, – коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и запомнил – в проеме двери, чуть пригнувшись – хоть знал, что не достаёт макушкой до притолки, но все равно каждый раз наклонялся, выходя за порог. Словно уменьшался, покидая дом.

На фотографиях он отца не узнавал: крупный, сутуловатый, рано поседевший неуместно радостный мужчина – смеется так, что глаза превращаются в узенькие щелочки. Ранняя седина оказалась наследственной – Цатур начал седеть еще в школе, а к тридцати годам в его шевелюре не осталось ни одного темного волоса. Мать уверяла, что он очень похож на отца, он этого сходства не замечал, но охотно соглашался. Это не то чтобы утешало, но хотя бы помогало свыкнуться с потерей.

В конце февраля Цатуру исполнилось тридцать три. Приехали сестры – с мужьями и детьми. Сидели допоздна, вспоминали детство. Об отце не говорили: каждый предпочитал думать о нем, оставшись с собой наедине. Разъехались ближе к полуночи. Дети клевали носом у теплой дровяной печи – сытые, разомлевшие, наигравшиеся. Пока сестры собирали их на выход, Агнесса, жена Цатура, вручила им скромные подарки: девочкам – самодельные бусики, мальчикам – вязаные гулпа^[2]. Дети расцеловали ее в ладони, только самая маленькая повисла на ней, чтобы заставить наклониться, но брат ее вовремя остановил – ты что, забыла, что ей трудно! Цатур подхватил малышку, поднес к жене. Та рассмеялась и чмокнула ее в носик. Свои дети тихо стояли рядом, мал мала меньше: одному пять, другому четыре, а девочке два с половиной года. Агнесса очень хотела дочку, наконец дождалась.

Укладывались за полночь – сначала детей убаюкали, потом она перемыла посуду, а он протер полы – она бы не справилась, нагибаться сложно, да и очень устала – провела целый день на ногах. «На ногах», –

горько усмехнулся Цатур. Агнесса, почуяв его настроение, спросила, не оборачиваясь: «О чем задумался?» – «О том, как тебе сложно приходится. Раньше мать была, а теперь...» – он осекся, замолчал. Она пожала плечами – разве это сложности? Он кивнул, соглашаясь. Разве это сложности!

Вот уже семнадцать лет Цатур хоронил Берд – с того дня, как вернули останки отца. Он тогда пришел на кладбище, попросил могильщика Меграба объяснить, как нужно правильно рыть яму. Меграб обстоятельно рассказал про глубину и ширину могилы, свойства почвы и грунтовых вод. Объяснил, где должно быть изголовье, начертил лезвием лопаты на земле прямоугольник. С остальным Цатур справился сам. Пока мать и сестры оплакивали отца, он рыл ему могилу. После похорон остался работать на кладбище – сначала помощником Меграба, потом, когда того не стало, – могильщиком. Так и жил переправщиком между мирами – тем и этим. О себе не думал, поднимал сестер – одну надо выучить и замуж выдать, потом вторую. Мать все переживала, что никак не женится, а он отмахивался – потом, потом, да и какая женитьба, когда кругом столько горя.

Как-то ему пришлось рыть две детские могилы. На похоронах один гроб открыли, а второй не стали. Он подумал, что второго ребенка сильно покалечило взрывом, но ему объяснили, что в другом гробу лежат женские ноги. Семья скрылась от бомбежки в подвале, было очень холодно, а одеться толком не успели – выбежали из дома в ночных рубашках. Мать переживала, что дочь простынет, причитала – хотя бы теплые колготки, хотя бы колготки. Выскочила за одеждой, когда немного притихло, девочка метнулась следом. Ее убило взрывом, а матери оторвало ноги. «Она жива?» – спросил Цатур. «Разве это жизнь?» – последовал ответ.

Агнессу он увидел спустя несколько месяцев. Она сидела на веранде отцовского дома и лушила горох. Волосы ее были коротко стрижены и заправлены за уши, на левой щеке, ниже скулы, можно было разглядеть крохотный розовый шрам. Поговаривали, что шрам – дело рук ее бывшего мужа, не простившего ей смерть ребенка. Цатура тогда поразила мертвенная бледность ее пальцев и то, как она, управившись с работой, продолжала водить ими, словно теперь уже пустой воздух перебирала. Он какое-то время наблюдал за ней

исподтишка, а потом не вытерпел, спросил – почему вы пальцами водите? «От мыслей отвлекает», – просто ответила она.

Ее мать вынесла на веранду дымящуюся джезву с кофе, сама пить не стала, но предложила погадать на гуще. Рисунок на стенках чашек доброго не сулил: разочарования, сплетни, заботы. «Оно и понятно, какие заботы, – посетовала мать, отставляя в сторону чашку, – никак не могу протезы раздобыть, три раза в город ездила, но все без толку. А ей ведь нужно учиться заново ходить! – Она вздохнула, протянула с горечью: – Несчастливая моя девочка». Агнесса прильнула к ней, коснулась щеки, но целовать не стала, так и сидела, прижавшись губами к лицу матери, и было в этом столько нежности и простоты, что у Цатура защемило сердце.

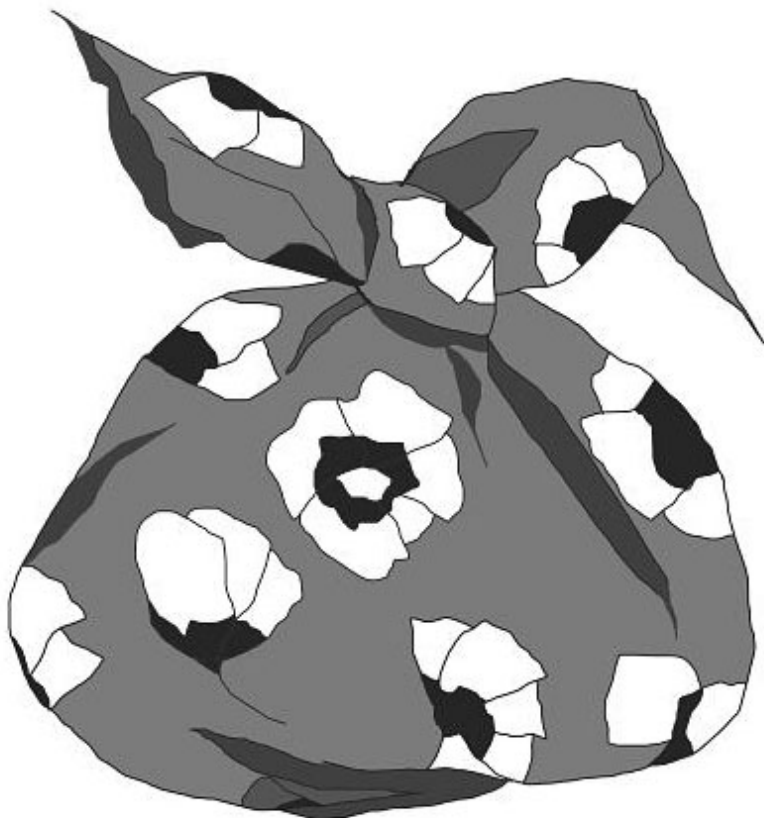
«Завтра мне как раз в город, давайте адрес клиники, – кашлянул он. И поспешно добавил, чтобы развеять сомнения: – Мне по работе нужно съездить, кое-какие инструменты прикупить». Матери он тоже объяснил внезапный отъезд необходимостью покупки инструментов. Арусяк вопросов задавать не стала, только вздохнула.

В войну протезы пользовались большим спросом, потому сроки всех заказов отодвигались. Но Цатуру удалось их заполучить, изрядно поскандалив в клинике. На обратную дорогу он приобрел два автобусных билета – протезы оказались до того тяжелыми и неповоротливыми, что везти их в руках не представлялось возможным, а сдать в багаж он побоялся – вдруг повредятся. Так и ехал, крепко придерживая, чтоб не соскользнули, на соседнем сиденье.

Учились всему заново вместе: ходить, улыбаться, дышать. Как настала весна – Цатур сделал предложение. Она попросила время на раздумье, после долгих колебаний согласилась. Свадьбы не играли – какое может быть веселье, когда кругом столько горя! Агнесса мечтала о девочке, но рождались мальчики – сначала один, потом второй. Врачи, кивая на ее слабое здоровье, советовали повременить с третьим ребенком, но она не послушалась и все-таки родила девочку. Назвала ее именем погибшей дочери, потому что свято верила – если живет имя, значит, и человек жив. Цатур жену переубеждать не стал, хотя восторга от того, что дочь назвали именем мертвого ребенка, не испытывал. Впрочем, разговоров об этом он никогда не заводил – смысл рассуждать о том, чего уже не изменить. Агнесса любила детей больше жизни, ни в чем не отказывала. Тряслась над ними, словно лист осины. До паники

боялась простудить, потому, не жалея денег, закупалась ворохом теплой одежды впрок и на вырост: свитера, куртки, теплые сапожки, варежки и шарфы. Единственное, чего она никогда не брала, – это колготки. Дети так и ходили в морозы, переваливаясь неуклюжими гусятами, в двух парах шерстяных штанов. И в смешных помпончатых шапках, которые вязала им Гинаманц Метаксия.

Узелок



Бог дал Погосанц Васаку двух тихих дочерей: Арусяк и Аничку. В сравнении с соседскими многошумными домами его жилище выглядело серым и необитаемым: по забору никто не лазит, гонок на велосипедах не устраивает, с крыши, вереща, словно оглашенный, в стог сена не ныряет, карманы головастиками не набивает. Васак печалился, но не роптал. Значит, судьбе было угодно, чтобы они с Верой стали родителями девочек. Но иногда, наблюдая за тем, как чужие сыновья носятся по деревне, он не мог сдержать вздоха:

– Мужикику наследник нужен, продолжатель рода!

Сосед однажды попытался его утешить, мол, не переживай, сыновей тебе зятя заменят.

– Какие зятя? – искренне удивился Васак.

– Дочерей замуж выдавать собираешься? Или всю жизнь под своим крылом удержишь? – хохотнул сосед.

Васак смутился. Чтоб скрыть замешательство – глупо отшутился, мол, конечно, выдам, не мариновать же буду. Сосед о том разговоре давно и думать забыл, а Васак каждый раз, вспоминая свою грубую шутку, обзывал себя болваном. Надо же было такое о собственных детях ляпнуть – не мариновать же буду! Одно слово – болван!

В дочерях он души не чаял. Старшая, Арусяк, пошла в мать – хрупкая, изящная, тонкокостная. Настоящая сказочная пери. Младшая, Аничка, выдалась копией отца – высокая и статная, щедрой деревенской лепки: широкие плечи, полные руки, гордая осанка. У обеих девочек, несмотря на внешнюю несхожесть, были одинаковые характеры и привычки. Они даже одежду предпочитали носить одинаковую, чем доводили до отчаяния мать – поди раздобудь в захолустном Муруте^[3] два похожих пальто разного размера! Или туфли! Вера хорошо шила и вязала, потому проблем с платьями и кофтами не возникало. Вся беда была с верхней одеждой и обувью. Поскольку дочери упорно отказывались носить разное, приходилось за обновками ездить в город. Пока девочки, выпив по порции ледяного молочного коктейля, бродили по просторным залам шумного универмага, мать с отцом изнывали в длинных очередях. С большим трудом раздобыв нужное, возвращались в родную деревню, твердо обещав себе никогда больше не потакать капризам дочерей. Но ровно через год, посоветовавшись, снова собиралась за покупками. Девочки были единственным смыслом их существования, и они делали все, чтобы порадовать их.

Несмотря на потворство родителей, Арусяк с Аничкой выросли скромными и трудолюбивыми барышнями. Вышли замуж практически в один год: в январе Арусяк увезли в далекий Берд, а в декабре заженуховалась Аничка. В отличие от сестры, она нашла ухажера в Муруте, чем безмерно порадовала отца с матерью – хотя бы одна из дочерей осталась под боком.

С зятьями у Васака состоялся недолгий, но проникновенный разговор. Улучив минуту, он отвел их в сторону и рассказал с леденящими душу подробностями, *что* именно с ними сделает, если они обидят его девочек. Природа не обделила зятьев чувством юмора, потому они обижаться не стали, а, рассмеявшись, обещали взять слова

тестя на заметку. Мужьями они оказались хорошими и со временем, как и предрекал сосед, заменили Васаку сыновей.

Вера давно жаловалась на ноги – сначала на ноющую боль и покалывание, потом на потерю чувствительности. Васак не раз предлагал отвезти ее к врачу, но жена отмахивалась – само пройдет! Слегла она сразу после свадьбы Анички. Визиты по поликлиникам и больницам состояния ее не облегчили, и к шестидесяти годам она полностью обезножела. Впрочем, сдаваться она не собиралась: научилась ездить в коляске и через короткое время сама справлялась со стиркой и стряпней. Аничка заглядывала к родителям ежедневно, помогала с уборкой и огородом, доила корову. Арусяк навещала их раз в месяц, гостила по три-четыре дня. Жизнь, может, и не слишком простая, но текла своим чередом, постепенно перебирая месяцы и годы, и радовала Веру и Васака неспешной однообразностью. «Спасибо за возможность быть и радоваться», – часто повторяла она. «Спасибо», – вторил он. Они потихоньку старели, окруженные любовью дочерей и зятьев, а потом и внуков, которые наконец-то превратили их тихий дом в настоящее шумное сборище: неустанно лазили по забору, вереща, словно оглашенные, прыгивали с крыши чердака в стог сена, набивали полные карманы головастиков, гонялись на велосипедах. У Анички было три мальчика, у Арусяк – мальчик и две девочки. Васак обожал всех внуков, но к сыну Арусяк – Цатуру – относился с особой нежностью. Было в старшем внуке такое, что наполняло его старое сердце безграничной любовью. «Ты у нас – совесть мира», – часто повторял он, глядя внука по вихрастой макушке. Цатур сконфуженно улыбался, но возражать деду не решался.

Спустя годы, когда боль не то чтобы притихла, но хотя бы давала возможность выдохнуть, Арусяк часто спрашивала себя, как бы она поступила, если бы знала все наперед. Не стала бы уезжать из Мурута, чтобы разделить с близкими неизбежное, или умоляла бы их перебраться в Берд? Но убедить отца переехать она бы не смогла, он всегда говорил – мое место там, где похоронены мои предки. «Лучше бы я осталась, – плакала Арусяк, – место человека там, где его корни».

Война закрутилась стремительно – еще вчера можно было позвонить в Мурут, а сегодня оборвалась связь, и получить весточку от родных стало нельзя. Арусяк места себе не находила, плакала днями и ночами, отказывалась подниматься с постели. Дети, как могли,

управлялись с хозяйством. Муж каждый день ездил к границе – встречать беженцев. Люди шли долгим потоком – изнуренные, потерянные. Некоторые, так и не свыкнувшись с произошедшим, сходили с ума по дороге, другие – добравшись до безопасных мест. Муж искал среди них родных жены, потому что знал – идти им, кроме как в Берд, некуда.

Однажды его внимание привлекла старуха. Перейдя границу, она не пошла за всеми, а опустилась на камень возле обочины. Кое-как усевшись, скинула туфли, потянула подол юбки, чтобы прикрыть свои отекавшие и кровоточащие ступни, положила на землю грязный узелок. У него перехватило дыхание – он узнал косынку, которую Арусяк подарила сестре, – красные маки на голубом, она собственноручно их вышивала, переплетая края лепестков серебристой нитью. Он подошел к старухе, чтобы расспросить, откуда у нее косынка. Она подняла на него глаза – и он чуть не задохнулся от ужаса – это была Аничка, он ее не узнал.

Она рассказала ему ровным голосом, что была у отца с матерью, когда случилась беда. Мать сидела на веранде, отец рубил дрова, она убиралась на чердаке. Сначала до нее долетели крики, потом она увидела в чердачное окно, как отца зарубили топором, и как обезноженная мать поднялась с коляски и, зовя мужа, заковыляла по ступенькам вниз, как они настигли ее, ударили обухом по голове и поволокли за волосы к забору, ты ведь помнишь, какие у мамы были косы, они даже к старости не потеряли своей красоты, они волокли ее за эти красивые седые косы к забору, а на земле оставался влажный темный след, и он все не иссякал и не иссякал.

Аничка виновато улыбнулась, добавила: а дальше я ничего не помню, совсем ничего. Умолкла. Попыталась надеть туфли, но они не налезали на распухшие ступни. Она отложила их, прижала к груди узелок, с трудом поднялась.

– Забери меня отсюда. Пожалуйста.

Он отобрал у нее узелок, развязал, заглянул внутрь. Изменился в лице.

– Не пушу, не уходи! – молила его следующим утром Арусяк. Сын стоял в углу, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: забери ее. Цатур бережно подхватил под мышками мать,

потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди.

– Береги девочек, – коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и запомнил – в проеме двери, чуть пригнувшись – хоть знал, что не достает макушкой до притолоки, но все равно наклонялся, выходя за порог. Каждый раз словно уменьшался, покидая дом.

Багардж



Заргинанц Атанес просыпается в самую рань. Первым делом, неловко перегнувшись через край кровати, выключает будильник, чтобы тот своим бесцеремонным и назойливым звоном не разбудил спящего сына. Потом распахивает окно, забирается обратно под одеяло и лежит с закрытыми глазами, слушая голос просыпающегося Берда: далекий, едва различимый шепот реки, щебет птиц, возмущенный клекот вечно недовольных индюков, гогот задиристых гусей. Сипя древним мотором, проезжает мусорная машина. Атанес уверен, что ей

столько лет, сколько миру. Сменяют друг друга времена года, поколения, века, и единственное, что остается незыблемым, – это отчаянно чадающая и захлебывающаяся собственным дымом старая развалина, с упорством муравья увозящая за пределы Берда нескончаемый и бессмысленный мусор.

На заборе дерет глотку соседский петух. Атанес с улыбкой вспоминает, как, цокая длинными когтями по дощатому полу, тот шлялся по веранде, кося желтым глазом на высланные горячей жареной пшеницей подносы. Клевать не клевал – не дурак обжигаться, но вид имел крайне недовольный и даже угрожающий. Левон, увидев его, забулькал, затрясся в неслышном смехе: папа, па-а-па, смотри, Пето!

Все петухи у него – Пето.

Все собаки – Сево.

Все лошади – Чало.

Все люди – Человеки. Так и говорит: Человек пришел, Человек ушел. И только об одной женщине скажет – Ласковый Человек пришел. А потом добавляет – красивый.

Представление о красоте у всех разное, да и на протяжении жизни меняется многожды. Но у Левона оно неизменное и бесспорное – красив тот, кто приходит со сладким угощением. Потому Погосанц Аничка – красивый Человек. Ведь она часто приносит ему багардж^[4], тесто которого, вопреки традиционной рецептуре, замешивает на густых сливках и прослаивает молотым жареным миндалем.

– Папа, па-а-па, смотри, Ласковый Человек идет. Красивый! – радуется Левон, заметив отворяющую калитку Аничку.

– Левон-джан? День перевалил за полдень, а ты еще не поднимался? – притворно бухтит Аничка, взбираясь по ступеням веранды. Это ей дается с трудом, она охает и упирается ладонью то в одно, то в другое колено. Раньше Атанес пытался ей помочь, но потом перестал – она сердито отмахивалась, твердя, что, пока ноги ходят, сама будет справляться.

Левон полулежит на топчане, низ туловища плотно обмотан пленками, свободны только тонкие длинные руки, которыми он тянется к Аничке. Ласковый Человек пришел. Красивый.

Аничка садится рядом, сначала разворачивает сверток, открывая взору притихшего мира золотистые кусочки сладкого багарджа. И

только потом переводит дыхание.

Пока Левон ест, они с Атанесом ведут неспешную беседу. О том, что крыша прохудилась. Что забор лежит на боку. Что дни становятся все короче, а ночи – длиннее, и это не потому, что дело движется к зиме, а потому, что возраст. Что пора сходить на кладбище, ведь скоро Зеленое Воскресенье, на другой день родительская. А к родительской нужно готовиться загодя, с поклоном к неприбранной могиле ведь не придешь.

Потом Атанес разогревает воду, и они с Аничкой моют Левона. Сытый и довольный, тот старательно плещется и радуется – хорошо, да, папа?

– Да, Левон-джан, хорошо.

Пролежни на затылке, лопатках и пояснице обрабатывают специальной мазью, Аничка ее сама делает – вскипятит растительное масло, добавит пчелиного воска, хорошенько размешает, оставит стынуть.

Когда Левон засыпает, они проводят на веранде еще какое-то время. Пока Атанес заваривает чай, Аничка штопает прохудившееся белье. Пьют каждый по-своему: она – вприкуску, он – с вареньем.

– Нужно было, когда звал, замуж за меня идти, – прерывает молчание Атанес. – Вместе нам было бы легче.

Аничка поднимает на него глаза.

– Ты в это веришь?

Атанес не отвечает.

– Не веришь, а говоришь, – заключает Аничка.

Уходит она ближе к вечеру, когда небо подергивается боязливым светом первых звезд.

Атанес потом долго лежит в постели, вглядываясь в безответные глаза ночи. Рядом, по-детски подложив под щеку ладонь, спит Левон. Война забрала у Атанеса всех, и сына бы забрала, да не смогла – его выбросило из разбомбленного автобуса за секунду до того, как тот рухнул в пропасть. Был здоровый крепкий парень, а теперь калека и дитя дитем. Спроси, сколько ему лет, и не ответит. А ведь прошлой зимой справили тридцать пять!

У Анички было страшнее, хотя кто объяснит, каким мерилom можно измерять боль. Семья ее сгинула в погроме, все, что ей удалось отыскать, – обугленные останки младшего сына. Собрала в узел,

перенесла через границу, похоронила. Когда узнала о Левоне, испекла багардж – любимое лакомство своих детей, пришла проведать. Так и ходит много лет. Атанес сначала отнекивался – не хотел ни от кого зависеть, но потом привык и даже полюбил. Однажды, набравшись смелости, предложил пожениться. Она ответила, что на двоих у них будет столько горя, что не справиться. А так, каждый со своим, как-то проживут.

Атанес забывается недолгим сном далеко за полночь, а просыпается в самую рань. Первым делом, неловко перегнувшись через край кровати, выключает будильник, чтобы тот своим пронзительным звоном не разбудил спящего сына. Потом распахивает окно, забирается обратно под одеяло и слушает голос просыпающегося Берда. Утро проходит в рутинной работе по дому: уборка, прополка и поливка огорода, стирка-готовка. После обеда он выносит Левона на веранду, укладывает на топчан, садится рядом. И они принимаются ждать, когда придет Аничка и принесет золотистые кусочки благословенного багарджа. Левон каждый раз ест так, словно пробует на вкус солнце.

Одиночество



Мураданц Андро знает об утреннем Берде то, чего не знают даже птицы, густым своим пением предвещающие наступление нового дня. Пока их праздный щебет, занявшись с одного края долины, вьется в небе, чтобы потом, набравшись сил, взмыть ввысь, к верхушке холма, бьющего челом восходящему солнцу, ржавый, рассыпающийся на части, дряхлый, как мир, грузовик Андро, чадя тяжелыми бензиновыми парами и машинным маслом, фырча и проваливаясь то одним, то другим колесом в смытую вечными дождями и пересушенную палящим

солнцем заскорузлую колею, разъезжает от двора ко двору, собирая, словно шуршащую луковую шелуху, бренный человеческий мусор.

– Ты бы хоть глушитель починил! А то этот драндулет своим грохотом нас раньше будильников поднимает! – возмущаются бердцы.

Не выключая мотора, Андро с лязгом поднимает ручник, вылезает из кабины, громко хлопнув дверцей, по очереди опрокидывает в кузов содержимое мусорных баков, не забыв тщательно постучать кулаком по дну, давая возможность клочьям бумаги, картофельным очисткам и яичной скорлупе отлипнуть от мокрых стенок, – а потом выстраивает баки аккуратным рядком на кромке дороги.

– Этот драндулет придумали раньше глушителя, так почему бы ему не грохотать?! – наконец снисходит до ответа он. И, чуть помедлив, добродушно добавляет: – Чего вы гундите, вон, утро на дворе, просыпаться пора.

– Какое просыпаться, до будильника еще час!

– Кто рано проснулся – тому Бог улыбнулся!

К тому времени, когда тысячеголосый птичий гомон, сплотившись в могучую хвалебную песнь, достигает Восточного холма, пробуждая его от старческого сна, Мураданц Андро, покончив с ежеутренним сбором мусора, выруливает к водохранилищу, за которым, если проехать еще с полчаса, будет большая свалка. Эту дорогу он знает наизусть, если понадобится, проделает с закрытыми глазами. Справа, подпирая небо острыми куполами, тянется кипарисовая роща. Ниже, бликуя на солнце серебристой чешуей, извивается среди камышовых зарослей река. Лягушки молчат – до вечера набрали в рот воды и стерегут под камнями тишину, зато поет иволга – так, как умеет только она – трогательно-нежно, душеспасительно. На том берегу зеленеют табачные поля – Андро морщится, вспоминая царапающий запах едкого сока, намертво въевшийся в руки матери и теток. Пока они с двоюродными братьями, закинув за спины самодельные луки и стрелы, бегали окрест, играя в индейцев («А-андро, ай Андро, играй, где хочешь, но чтобы мои глаза тебя видели!» – надрывалась потерявшая его из виду встревоженная мать), женщины, устроившись на дощатых лавках и обмотав лица платками так, чтобы оставалась узкая щель для глаз, нанизывали на шнуры табачные листья, орудуя длинными стальными иглами. Если выключить посторонние звуки, можно и сейчас услышать, как в бесконечно однообразном движении снуют их

почерневшие от табачного сока пальцы: проткнуть черешок у основания иглой, аккуратно, чтобы не порвать лист, спустить его на шнур, строго следя за густотой нанизывания – мелкий лист можно чаще, крупный – реже, иначе он, так и не успев высохнуть, запреет и сгниет. Затянуть под навесами низки с таким расчетом, чтобы они не сильно провисали, давая солнцу и ветру беспрепятственно проникать между листьев и сушить их бережно, щадя. Работа была кропотливой и тяжелой, и руки матери к вечеру болели так, что она не могла сдерживать горестных вздохов. Укладываясь спать, натирала их яблочным уксусом и утиным жиром, но толку было мало.

– Пальцы как будто огнем жгет! – жаловалась она.

– Жжет! – закатывая глаза, поправлял ее Андро.

– Жжет, – охотно соглашалась мать, но на следующий день допускала ту же ошибку.

В гробу она казалась совсем маленькой, даже ногами до нижнего края не доставала. Выглядела не мертвой, а задремавшей – шепотом окликнешь – проснется. Андро не мог ею налюбоваться: она была красива той строгой первозданной красотой, которой отличаются жительницы гор – высокая, сухощавая, с неправильными броскими чертами лица. Загрубевшие от тяжелого труда ее руки, не знавшие всю жизнь покоя, лежали теперь бездвижным грузом на ее груди. Замотанные в темную шерстяную ткань, они смахивали на два каменных обломка, навсегда прибивших ее к земле. Он старательно обходил их взглядом, чтоб не разрыдаться. «А-андро, ай Андро, играй, где хочешь, но чтобы мои глаза тебя видели!» – надрывалась она, близоруко щурясь и высматривая в шумной ватаге детей своего. «Мам, ну чего ты так кричишь!» – каждый раз возмущался он. «Боюсь, что меня не услышишь», – виновато улыбалась она.

Андро не сомневался – она его звала. Заваленная тяжеленными, прокопченными дымом балками, старой ломкой черепицей, лопнувшей печной трубой, связками сушеных яблок и вяленых слив, початками кукурузы, рамками меда – соты треснули, и сладко-терпкий горный мед – янтарно-золотой, липкий, тек по ее седым волосам, по спине и ногам, засыпанным всяким ненужным скарбом, который она хранила и никак не решалась избавиться, потому что каждая вещь – память, и даже старое, насквозь проржавевшее колесо телеги, казалось бы, очевидный хлам, выкинуть и забыть, но она его берегла, как берегла изъеденный

древесным жучком ларь, облицованный по углам латунными пластинами, дед-кузнец собственноручно их чеканил, выводя стальным стержнем и узконосой киянкой незамысловатый, но достаточный узор, и треснувшие по боку рыжие глиняные горшки – привет от другого деда-гончара, и ветхие лоскуты истертых до дыр ковров, и торчащие обломанными прутьями, давно пришедшие в негодность ивовые корзины – к ним прикасались пальцы бабушки; вся эта ненужная и бессмысленная, но значимая для матери рухлядь в один миг обвалилась, сметая на своем пути все, что не исчезло во взрыве, и заковала ее тело в душный неподъемный саркофаг. Она успела свернуться калачиком, и ни один обломок не задел ее и даже не коснулся, она лежала, словно младенец в утробе, притянув к животу колени и сложив на груди руки, беспомощная и бездвижная, – и звала сына. И он ее не услышал.

Это был старый каменный дом, с обветренной черепицей и покосившимися ставнями, со скрипучими разошедшимися полами и сгорбившимися стенами, прадеду в свое время определили надел совсем на отшибе, добираться на телеге полтора дня, он на него рукой махнул, но земля оказалась такой плодоносной, что после долгих раздумий он все-таки решил построить там небольшое, но крепкое жилище. Мать ездила в тот дом по выходным все погожее время, а к концу октября, когда табак уже был убран и обработан, оставалась на неделю-другую, подготавливала к зимовке ульи, собирала последнюю, уже подмороженную малину, варила из пыльно-мерклых ягод терна терпкое варенье, перекапывала огород. Андро приезжал за ней в оговоренный день, и они перевозили домой заготовленные припасы. Иногда он предлагал остаться, но она отказывалась – ей важно было побыть в тишине и уединении, она уставала от людей.

Последний ее октябрь случился накануне очередного витка войны, и всю неделю, пока Берд нещадно бомбили, Андро радовался тому, как вовремя вывез мать в дом на отшибе. За нее он не беспокоился – никто не стал бы тратить снаряды на отдаленную местность, ведь бомбят всегда там, где можно собрать большой урожай жертв.

Застав вместо дома зияющую воронку, засыпанную грудой обломков, он сначала не поверил своим глазам и даже несколько раз огляделся, думая, что перепутал дорогу и приехал не туда, но потом, очнувшись, ринулся разбирать руины голыми руками. Добрался до

матери к рассвету, плакал, высвобождая ее из-под каменной трухи, пучков сушеной мяты, обрывков старых газет, меда и искрошенной черепицы, – высвободил так бережно, словно жемчужину из раковины извлекал. Всю дорогу, пока вез ее домой, говорил с ней, не умолкая. Спрашивал, как теперь ему жить с таким оглушительным бременем сиротства. Как оплакивать ее, чтобы чужие не видели его слез. Как простить себе, что ни одна ниточка души не шевельнулась, когда она его звала. Как простить себе, что не оказался рядом. Мать лежала на заднем сиденье машины, свернувшись калачиком, он пытался выпрямить ей хотя бы руки, но окоченевшее тело не давалось, она покоилась, притянув к животу ноги, и будто спала – красивая, молодая, не тронутая тленом.

Андро остановился у водохранилища, сидел в машине, плакал и причитал. Вышел, снедаемый нестерпимой душевной болью, оставив нараспашку дверь – почему-то побоялся хлопнуть ею, чтоб не потревожить мать. Подошел к самой кромке воды, постоял, вбирая в себя безмолвие небес, непоколебимое молчание которых убивало всякую веру в спасение. Тишина стояла оглушительная, облака касались самой земли, воздух был нем и туг, словно набитая пухом жаркая перина – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Андро не сомневался – отныне для него нет и не будет ничего страшнее этого каменного и отрешенного молчания. «Господи, да как же может быть, чтобы ты был так безразличен и глух к людской боли!» – не в силах справиться с душевной мукой, вдруг закричал он. Крик этот – протяжный, неистовый, рвущий глотку до крови – исторгся из него невыносимым отчаянием и долго реял над черной водой, волнуя ее зыбь. Он не услышал голос матери, он его ощутил. Возникнув из ниоткуда, этот голос не прозвучал, а проник – весь, без остатка, в самые краинки его истерзанного болью сердца. «Я тебя слышу», – прошелестел он и угас, оставив в сердце чувство безвозвратной утраты и глухой тоски.

Мураданц Андро знает об утреннем Берде то, чего не знают даже птицы, звонким своим пением предвещающие наступление нового дня. Пока их праздный щебет, занявшись с одного края долины, взмывает к верхушке дряхлого Восточного холма, пробуждая его от каменного сна, ржавый, рассыпающийся на части грузовик Андро, чадя тяжелыми бензиновыми парами и машинным маслом, фырча и проваливаясь то одним, то другим колесом в заскорузлую деревенскую колею,

разъезжает от двора ко двору, распугивая заспанную домашнюю живность и поднимая людей в несусветную рань. Бердцы возмущаются, но терпят. Они знают – тишина для Андро равносильна муке. Ведь совесть говорит с нами голосами тех, кто ушел. Выключи посторонний звук – и ты ее услышишь.

ЖИТЬ



Акунанц Карапет погиб на пороге своего дома. Когда прибежали соседи, он сидел, привалившись плечом к дверному косяку, и, уронив на колени руки, смотрел в тот угол двора, где разорвался снаряд. Пес беззвучно скулил, боясь высунуться из конуры. Куры, заполошно кудахча, метались вдоль частокола, но при виде людей притихли. Лишь одна, хрипло кукарекнув, продолжила свой бестолковый бег.

– Поймай и сверни ей шею, – велела старшему внуку Маро.

Тот безропотно подчинился.^[5] Выкинул убитую курицу в выгребную яму, сполоснул руки в дождевой бочке – вода перестояла и пахла набрякшим мхом и сыростью. Брезгливо пригнувшись к пальцам, он вытер их о штаны и заспешил в дом. К тому времени младшие братья с бабушкой успели положить тело Карапета на тахту.

Второй снаряд разорвался так близко, что подумалось – угодил в дом. Стены скрипнули и зашатались, на кухне с грохотом опрокинулся буфет, полиэтилен, которым были обтянуты оконные рамы, не выдержав воздушного удара, лопнул и разлетелся в клочья.

– В погреб! – крикнула Маро и вцепилась в плечи покойного. Мальчики решительно отодвинули ее – сами справимся. Перенести Карапета не составило большого труда – к старости он совсем отощал, шея торчала из ворота рубахи, словно хвостик перезрелой груши, – старший внук Маро поморщился, некстати вспомнив хрустнувшую в пальцах шею курицы. Идти было недалеко: вниз по лестнице и направо с десятков шагов, но нужно было спешить, чтоб не угодить под обстрел. Маро ковыляла за внуками, бормоча под нос проклятия: «Чтоб вы превратились в камень, бессовестное племя, чтоб мертвые ваши восстали из могил, но только затем, чтобы забрать вас на тот свет! Где это видано – мирные дома бомбить?»

Третий снаряд разорвался ровно в ту секунду, когда старший внук захлопнул дверь за псом – тот ворвался в погреб, жалобно скуля, споткнулся о высокий порог, пролетел вперед, въехал ушастой башкой в мучной ларь, взвизгнул. Обезумевшие пеструшки бегали по двору, захлебываясь в хриплом кудахтанье. Следующий взрыв грянул совсем рядом, словно под боком, мигом загасив страшный куриный крик. Маро рухнула ничком на землю, внуки попадали рядом, старший в невообразимо длинном прыжке настиг младшего, прикрыл его собой, тот сразу же выполз из-под него – о себе думай! Потом было поднялся, чтобы посмотреть, что там во дворе, но братья не дали – куууда? Младший пихнул их локтем, получил в ответ звонкую затрещину. Маро шикнула, кивнув на покойного – нашли время! Внуки, мгновенно устыдившись, притихли.

Акунанц Карапет лежал на земляном полу, правая рука была откинута вбок, неудобно согнутая в локте левая осталась под спиной. Маро прикрыла ему веки, подивившись тому, какие у него огромные зрачки. Сложила на груди руки, крепко обвязала носовым платком

запястья – неизвестно, когда удастся похоронить, потому лучше заранее сделать все как положено. Говорят, Мураданц Сатик, которую хватились через неделю, пришлось ломать окоченевшие руки, иначе они не складывались на груди. Не хотелось бы, чтобы и с Карапетом так. Рана на виске была совсем крохотной, крови вытекло мало, с три чайных ложки. «Придет же в голову такое – измерять кровь ложками», – мысленно отругала себя Маро, сдернула пояс, обвязала ступни покойного. Накинула жакет ему на ноги, прикрывая расплзшееся пятно на брюках – не нужно, чтобы внуки видели, как у него отходит моча. Сложив вчетверо косынку, подвязала челюсть. «Смерть ужасна не фактом своего существования, а тем, как, глумясь и наслаждаясь, она уродует человеческое тело – ведет себя, словно тот недостойный противник, который, добившись своего, потешается над трупом поверженного врага», – думала с горечью Маро.

Пес плакал, уткнувшись носом в ладонь старшего внука. Тот молча гладил его по голове. Когда раздался новый взрыв, сгреб в объятия, прижал к себе. Пес громко вздохнул, запричитал совсем по-человечьи, но сразу же притих. Снаряды ухали по Берду, тут и там содрогались стенами старые каменные дома, вылетали последние стекла в окнах, сходила с ума домашняя живность. Людской страх – мешкотный, неподъемный – одышливо полз по дворам, заполняя собой щели между рядами поленниц, кривенькие дымоходы, чердаки и подполы. Было безвыходно и тоскливо – так, будто враз выключили все, что дарит надежду.

Маро сидела, привалившись спиной к стене, и смотрела в тот угол погреба, где лежал Карапет. Всю жизнь враждовали: то он, чиня забор, якобы случайно его опрокидывал на кусты смородины, то она «забывала» отключить воду и превращала его огород в болото. Сколько раз дело чуть до драки не доходило – Карапет был человеком вспыльчивым, в гневе неуправляемым, злым. Замахнется – думаешь, сейчас ударит. Но он в последнюю секунду сожмет руку в кулак, уберет за спину.

– Что же не ударишь? – усмехалась Маро.

Карапет уходил, больно задев ее плечом.

Спроси сейчас – с чего началась вражда, она и не вспомнит. Сначала жили каждый своей семьей, вроде были счастливы. У нее сын, у него сын. Однажды проснулись одинокими – муж Маро, забрав жену

и ребенка Карапета, уехал в другую деревню. Берд побурлил и забыл, а Маро с Карапетом словно окаменели. Так и жили, каждый со своим несчастьем. Первое время заглядывали друг к другу – излить душу, потом перестали. Маро быстро простила мужа – отпускала к нему сына, потом внуков. Карапет никогда больше с женой не общался. И сына редко видел – не забыл ему, что молча уехал, хотя какой спрос с четырехлетнего ребенка. Спустя время он и на Маро ополчился. Она сначала не обращала внимания, потом стала огрызаться. Так и поссорились.

Сыновьям было по тридцать, когда началась война. Оба ушли на фронт. Оба погибли, пропав в сердцах родителей незаживающие раны. В день, когда это случилось, Карапет пришел к Маро, домой заходить не решился, просидел на веранде до утра. Когда она вышла – он спал, положив голову на согнутый локоть. Рукав рубахи насквозь промок от слез. Она села рядом, погладила его по плечу. Он зарыдал сквозь сон. Помирился с женой на похоронах. Ну как помирился, поплакали, обнявшись – и разошлись.

– Тати^[6], ай тати! – вывел Маро из раздумий внук.

– А? – Она очнулась, протерла тыльной стороной ладони глаза. Взрывы стали дальше и тише, скоро и вовсе умолкнут – можно будет выйти из укрытия, посчитать живых, похоронить мертвых.

– Тати! – Младший смотрел на Маро глазами своего отца, потому все над ним и тряслись – и братья, и бабка, – уж очень он напоминал его, такой же темноглазый и рыже-веснушчатый. – Почему мы не оставили деда Карапета наверху? Все равно ведь мертвый.

– Мертвый или живой – человек остается человеком, – ответила Маро.

Громко кукарекнул петух, его крик подхватил другой, потом третий. Птица всегда безошибочно угадывала наступление затишья. Маро поднялась, отперла дверь погреба. Можно было выходить – и жить дальше.

Пахлава



Невестка старой Маро погибла на третий день ливня, когда вконец развезло дороги и деревья намокли так, что не держали ветвей, – те безвольно висели, поникнув мокрыми листьями, а небесная река все струилась и изливалась, стирая мир прохладными своими потоками.

Старая Маро словно чувствовала, что случится беда, отговаривала невестку от поездки, хотя накануне сама же испекла большой противень пахлавы – тонкое тесто, воздушная прослойка из взбитых белков с сахаром и грецких орехов, румяная корочка, щедро политая

разогретым на водяной бане медом с корицей – сватья любит корицу, так пусть ее будет вдоволь, как-никак юбилей, шестьдесят лет, дочь решила съездить порадовать мать, живущую на другом склоне Совиной горы. Два дня назад приехали ее братья – три молчаливых великана; когда они вошли в дом, воздух словно закончился, Маро оставила на ночь распахнутыми все окна, чтобы им было чем дышать. Братья возили в город молоканские продукты – моченые яблоки, капусту с брусникой, пироги с творогом и ягодами. На обратном пути заехали за сестрой. Маро сначала с легкостью согласилась отпустить ее, но потом испугалась. Уговорить не ехать не смогла.

Когда невестка собралась выходить, Маро предприняла последнюю попытку ее остановить – встала в проеме двери, загородила путь, замотала головой – не уезжай, дочка, пожалуйста, послушайся меня, не уезжай.

Все случилось на краю перевала, когда машина, вынырнув из ливневого потока, оказалась на горной петле, ведущей к Ущелью Сов, невестка сидела сзади, между двумя старшими братьями, придерживала на коленях поднос с пахлавой, на переднем сиденье расположился младший брат, за рулем был Крнатанц Хорен – он знал, где притормозить, а где проехать на большой скорости, держась как можно дальше от обочины.

Перед тем как выехать на опасный участок, он предупредил – сейчас рванем; братья подались вперед, заслонив собой сестру; мотор взвыл, набирая скорость, над перевалом дождило небо, облака спустились до самой земли и запутались в снулых кронах деревьев; пять, четыре, три, два, один, отсчитывал Хорен, выруливая к спасительному ущелью.

Никто не слышал звука выстрела, но все разом заметили трещину, неведомо каким образом появившуюся на лобовом стекле; она так стремительно расползлась во все стороны, словно бежала от себя самой, в центре зияла крохотная дырочка – след от пули, младший брат обернулся и сразу заплакал, сестра глядела удивленно и улыбалась, как в детстве, немного криво, левым уголком губ.

Старой Маро было шестьдесят два, когда погибла ее невестка, оставив маленьких детей. Это была первая смерть, случившаяся на дороге жизни, ведущей из Берда к Ущелью Сов, там теперь днями стоит такая тишина, что слышно, как распускаются горные цветы, а ночами

не уснуть от уханья сов, но это сейчас, а тогда они молчали, и ветра не пели, потому что хозяйничала на перевале война.

Старая Маро умерла, когда старшему внуку исполнилось двадцать, встретила его из армии и на следующий день слегла, ушла накануне Пасхи, тихая и умиротворенная, положили ее между сыном и невесткой; сына война забрала сразу, невестку – чуть погодя, наверное, для чего-то это было нужно, чтобы он ушел первым, а в машине с четверыми взрослыми мужчинами погибла именно она, в этом, несомненно, крылся недоступный человеческому пониманию Божий замысел, думала старая Маро, пытаясь совладать с терзающей душу горечью, с которой, впрочем, она так и не сумела справиться, потому никогда больше не пекла пахлавы – слоеное тесто, взбитые белки с сахаром и грецкими орехами, румяная корочка, щедро политая медом с корицей, последняя ее пахлава так и осталась на коленях погибшей невестки, другой уже не случилось, да и какая может быть пахлава, когда сердце ноет и ноет от боли.

Гулпа



Корову пришлось зарезать. Хорен этого делать не хотел, тянул до последнего, все надеялся, что она выправится. Не доверял ее стаду, ходил на околицу, на самый берег реки, следил, как она пасется через силу, как, тяжело дыша, пьет воду – нехотя, внапряг, со всхлипом.

– Малишка, м? – бестолково увещевал он, глядя ее по золотисто-палевой холке. Ему до боли хотелось, чтобы она жила. Корова горько мычала, мотала головой, смотрела на него потускневшими глазами в окаемке белесых ресниц. Хорен прикладывал ладонь к ее горячему

носу, расстроено кряхтел. Все, что требовалось, чтобы хоть как-то облегчить ее состояние, он уже сделал: и живот жгутом из соломы растирал, и отварами чабреца и мать-и-мачехи поил. Знал, что от лечения толку не будет, но не мог безучастно наблюдать ее муки. Об истинной причине Малишкиной болезни он рассказал только своей матери. Та выслушала его молча, беззвучно пошевелила губами, потом отложила спицы, вытянула шею, подслеповато высматривая кого-то в окно, обеспокоенно спросила:

– Хорен вернулся из школы?

Хорен на секунду замешкался, потом успокоил ее – вернулся.

Она кивнула: «Хорошо».

Он поднялся, нерешительно потоптался, собираясь задать вопрос, потом махнул рукой, с кряхтением наклонился, поцеловал край ее пахнувшей солнечным теплом косынки – мягкая бахрома защекотала лицо, он прикусил губу, удерживая рвущийся из груди горький вздох. Спросил, не надеясь на ответ:

– Я пойду, мам?

Она и не ответила.

Малишка умирала от обиды. Хорен знал это наверняка, но не стал никому, кроме матери, рассказывать. Все равно ведь не поверят. Кто бы знал, что такое может случиться именно с ней, такой пугливой и осторожной! Она с первых дней жизни была очень робкой, редко кого к себе подпускала, оказавшись в стаде, всегда ходила за пастушьим гампром^[7] – куда он, туда и она. С ним безопасней. Первое время пес не обращал на нее внимания, потом стал раздражаться, однажды даже цапнул за бок, не больно, но чувствительно. Малишка замычала, расплакалась, пастух, рассказывая Хорену о случившемся, водил концом большого пальца по сгибу указательного: «Слезы вот такой величины, каждая аж с виноградину». Хорен тогда еле сдержался, чтобы не пнуть гампра под живот. Тот, учуяв его настроение, виновато попятился, низко опустив морду и пряча глаза, а потом и вовсе скрылся из виду. Малишка прощала, словно ребенок – легко и навсегда, потому на следующий день снова увязалась за псом. Памятуя о грозном нраве ее хозяина, гампр терпел, не огрызался, но потом потихоньку, неожиданно для всех, привязался к корове. Отныне, обежав стадо по кругу, он обязательно возвращался туда, где она паслась. В непогоду всегда оказывался рядом – Малишка боялась грозы и, услышав

первые, еще далекие раскаты, норовила несообразительно спрятаться: то за выступ скалы уйдет, откуда можно сверзиться в пропасть, то в овраг спустится, из которого потом трудно выбираться по скользкой земле. Однажды она отстала от стада и затерялась. Хорен нашел ее по протяжному вою шакалов – бежал на их леденящий душу зов, не разбирая дороги. К тому времени, когда он добрался до Малишки, они обступили ее со всех сторон и, медленно сжимая кольцо, надвигались, скуля и взывая. Хорена тогда поразило, как она смотрела на них – отстраненно, поверх голов. Она даже не делала попыток защититься – стояла, словно каменное изваяние, словно памятник самой себе. Он полез в самую гущу, раскидал зверей. Когда подоспел гампр, руки его были изодраны в кровь, а на левой лодыжке зиял глубокий след от укуса. Кто его знает, что бы с ним стало, если бы не пастушья собака, под злым натиском которой шакалы нехотя, но отступили, а потом и вовсе разбежались – подывая друг другу мерзким протяжным плачем. Малишка Хорена не признала, побрела, неловко переставляя ногами – мешало налившееся вымя. Он догнал ее, обнял за шею, погладил по морде, по ушам. Она замычала – обиженно, с укором. Он выдоил немного молока, чтобы облегчить ее состояние, вывел к реке – напоить. Пить она не стала, но шум воды ее успокоил – она словно ожила и даже немного утешилась. Возвращались долго, трудно – Малишка часто останавливалась, судорожно вздыхала, мотала головой, словно контуженая, или же норовила уйти в другую сторону. Хорен терпеливо возвращал ее, целовал в глаза, увещевал. Домой добрались поздно ночью. Все спали, кроме старшей внучки Лусине, которая, дожидаясь их, дремала на веранде, завернувшись в домотканый плед. Обняв деда, ничего не спрашивая, сама за него все и сказала – долго искал, устал. Хорен кивнул – так и было, цавд танем^[8]. «Я с ней справлюсь, ты иди», – успокоила его Лусине и повела корову в хлев. Вернувшись, помогла промыть рану на ноге, обработала ее лечебной мазью. «Шакалы?» – «Шакалы, будь они неладны!» – «Надо тебе завтра в поликлинику сходить». «Надо бы», – согласился Хорен, но так и не сходил – не до того было.

От того страха Малишка так и не оправилась. Потеряла аппетит, стала стремительно худеть. Прекратила доиться, потом и вовсе закровила сосками. Ни холодные и горячие компрессы, ни расплавленный пчелиный воск и теплые укутывания облегчения не

принесли. Выписанные ветеринаром таблетки тоже не помогали. «Нужно зарезать, пока не поздно», – осмотрев в очередной раз корову, отвел он взгляд. Хорен хотел было выругаться, но сдержался. Был бы жив Мушеганц Арамаис, он бы придумал, как Малишку спасти. А этот молодой еще, жизни не знает, животных за равных не держит. А раз не держит – смысл от него толковое ждать?

С того дня он ухаживал за коровой сам, преданно – и без надежды.

– Ну как же так, а, Малишка? – спрашивал, заглядывая ей в глаза. Она жалобно мычала. Страдала от насекомых, которые, учуяв запах крови, роились вокруг ее тощего вымени, больно кусая и высасывая скудные жизненные силы. Первое время она отгоняла их вялыми взмахами хвоста, но потом и на это у нее не осталось сил.

Родилась она в лютый год войны, когда домашней живности осталось раз-два и обчелся. Невестка старой Маро, увидев ее, всплеснула руками, заахала: «Какая хорошенькая малышка!» Она была из молокан, говорила на певучем русском диалекте – растягивая к концу слова. «Малишка так Малишка», – согласился Хорен.

Он сам вызвался отвезти ее к матери, потому что знал каждую пядь дороги через перевал, там нужно было ехать умеючи, на разной скорости, чтобы снайперы не успели взять тебя на мушку. Прошло столько лет, но он и сейчас помнил хруст расползающихся по стеклу трещин и протяжный, неожиданно тонкий, детский вскрик младшего брата – Ка-а-тя, Ка-а-тюш-ка? Хорен развернулся на локте серпантина – впереди могла быть засада, – и погнал обратно на смертельной скорости по размякшей от дождей узкой – двум машинам не разойтись – дороге. Старшие братья, вплотную придвинувшись плечами, обнимали сестру, младший же придерживал поднос с пахлавой, на льняной ткани алели живым два крохотных пятна, он гладил их бережно пальцами – указательным, большим и снова указательным – и всхлипывал, как ребенок.

– Что за никудышный я человек, а, Малишка? Не смог уберечь невестку старой Маро. Не смог уберечь свою дочь Антарам. И тебя от шакалов уберечь не смог. Что за никудышный я человек такой? – шептал Хорен, глядя корову по тощей шее. Малишка тяжело дышала, мучилась от боли, но не плакала. Пахла не болезнью, а росой и незабудками. Хорен зарезал ее на заднем дворе, похоронил там же.

Когда он вернулся, мать сидела под тутовым деревом и вязала в четыре спицы детский носок.

– Скажи мне что-нибудь, – попросил Хорен.

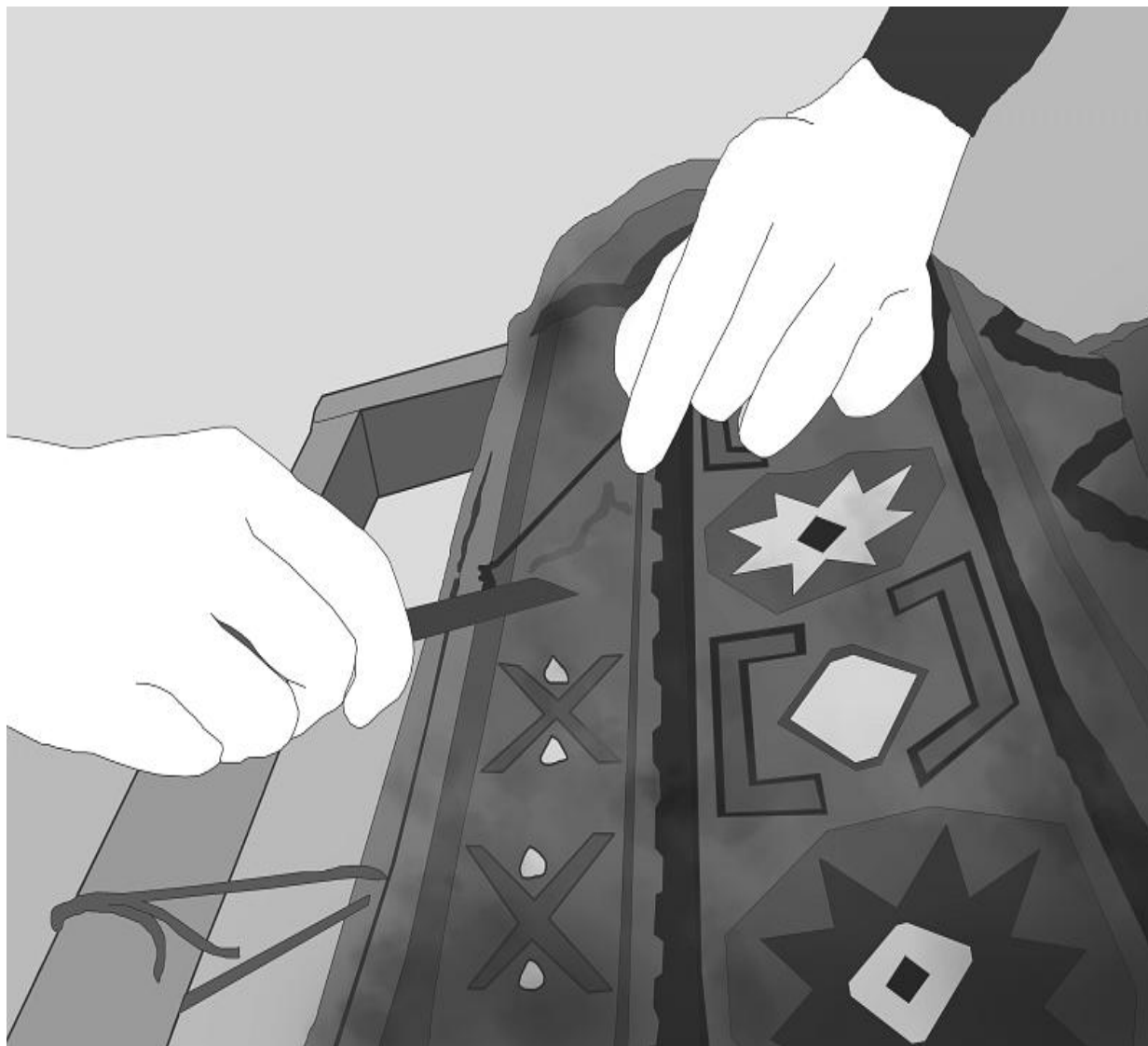
Она улыбнулась – вскользь и рассеянно, он провел пальцем по ее руке – кожа была бледной, в ржавых крапушках, и сухой, словно забытый на столе лоскут лаваша.

– Скажи мне что-нибудь! – взмолился он.

Она довязала ряд, безошибочно – каким-то только ей ведомым чутьем умела различать цвет на ощупь, поменяла фиолетовую пряжу на желтую. Подняла на него свои бесцветные незрячие глаза:

– Вот, Хоренчику своему полосатые гулпа вяжу. Красиво?

Ковер



Крнатанц Лусине вышла замуж в день своего двадцатилетия. В первую субботу сентября приехали сваты – просить ее руки. Свекровь подарила кольцо – ярко-багровый рубин в окаймлении жемчужной пыли, браслет с искусной гравировкой и тяжеленные серьги – червонно-тусклые, надменные. Золовка вручила шелковое белье – Лусине никогда прежде не видела такого, но втайне мечтала: воздушная нижняя сорочка, тонкий пояс для чулок – каждая застежка бабочкиным крылом. Жених внес в дом ковер, положил почему-то на обеденный

стол. Когда его развернули, у присутствующих перехватило дыхание. Нани^[9] перегнулась через подлокотник кресла, в котором просиживала дни напролет – потерявшая счет времени и событиям девяностолетняя старуха, – погладила ковер, прислушалась к шороху ворса, провела шершавыми пальцами по изнаночной стороне, спросила одними губами: Антарам ткала?

– Да, – бесслышно ответили гости.

– Вернулась наконец, – озарилась радостью нани.

Чтоб не задохнуться от полоснувшей душу боли, Лусине опустилась на пол, зарылась лицом ей в колени. Последний раз нани так улыбалась, когда младший праправнук, опрокинув на себя тяжелый чан с кипятком, чудом остался невредим. Вот тогда она и улыбнулась – легко и светло. И прочитала благодарственную молитву.

Нани давно никого не узнавала и проживала прошлое наоборот – после сердечного приступа отматывала время назад, словно пряжу распускала. Детей своих она теперь видела только маленькими, во взрослых их не признавала. Лусине навсегда запомнила, как плакал дед – единственный сын нани, могучий седовласый старик, несгибаемый и сильный, никогда прежде не замеченный в сомнениях и растерянности, как, мигом упав плечами и осунувшись лицом, он глухо зарыдал, когда на его вопрос о самочувствии мать отозвалась виноватым: «Прости, не признаю тебя, ты кто?» А на удивленный ответ, что это я, твой сын, кивнула на десятилетнего праправнука – того самого, что чудом спасся от кипятка: «Вон мой Хорен. А ты – кто?»

Без тени сожаления, чинно и безропотно, она отрекалась от прошлого, стирая из памяти все, что когда-то составляло смысл ее жизни: семью, соседей, отчий дом, подпаленные летом улочки старого Берда, холодный ветер, приносящий снежное дыхание гор, влажный след росы на шушабанде^[10] – если прищуриться, в каждом окошке можно поймать луч солнца. Дети ее теперь были мал мала меньше: Хорену десять, Манишак восемь, Зое семь, Жанне пять. И только внучке, Антарам, неизменно было двадцать пять.

Когда сваты уехали, Лусине сняла с себя подаренные украшения, убрала в ящичек комода, туда же сложила шелковое белье – красивое, но носить не станет, только на свадьбу, чтоб не обижать новую родню. Надела ситцевое простенькое платье – оно привычно пахло душицей и раскаленным утюгом, заплела волосы в тугую косу. Легла на ковер,

накрылась его тяжелым краем. Несколько раз глубоко вздохнула – унимая сердцебиение, и, неожиданно для себя – уснула крепким, безмятежным сном. Ковер обнимал так, как обнимала в детстве мама. И как никто больше не обнимал.

Антарам ткала ковры. На каждый уходил год с лишним работы. У нее был редкий дар: она умела предугадывать цвет и обладала удивительным чувством меры. То, что у других выглядело незатейливым узором, в ее исполнении оживало и обретало смысл.

Ткать она научилась поздно – в двадцать лет. Ковров успела сделать всего четыре. С последним уехала в город – на выставку. Стояло затишье – как раз объявили перемирие и открыли дорогу, ведущую через перевал в большой мир. Но у войны свои правила, и всякое перемирие не что иное, как повод его нарушить. Потому из Берда Антарам уехала, а в город не приехала. Спустя сутки нашли тело водителя. Антарам исчезла. Ковер тоже.

Лусине было четыре года, она мало что помнила. Единственное, что осталось в сознании – стойкий дух остропахнувших лекарств, – нани именно тогда слегла с тяжелым сердечным приступом. А когда пришла весть, что Антарам в плену, она уснула и не проснулась. Врачам удалось ее спасти, но она почти ослепла и забыла о случившемся. Стала облетать событиями и людьми, словно осеннее дерево – листьями.

Антарам вернули, когда время отмерило зиму и половину весны. Тело – отдельно, руки – отдельно. На обритой голове – вытатуированное бранное слово – кяхпа^[11]. Нани этого не узнала, как и того, что теперь их род называют Крнатанц: Безрукие^[12].

Все, что осталось родне в память об Антарам, – ткацкий станок и безжизненные мотки шерсти. Последний ее ковер сгинул на перевале. Три других были проданы людям, уехавшим в чужие края. Каким чудом сватам удалось раздобыть пропавший ковер, нани спрашивать не стала. Обняла жениха, что-то шепнула ему на ухо. Тот скрипнул зубами, коротко кивнул.

Крнатанц Лусине вышла замуж в день своего двадцатилетия. Забрала из отчего дома только ткацкий станок и ковер матери. Повесила его на стену, сидела напротив, изучала. Не плакала, молчала. Через год она научилась ткать ковры. В народе их называли Антарамнер –

Неувядающие. Поговаривали, что в рисунок каждого Лусине вплетает имя своей матери. Кому-то удавалось его прочесть, кому-то – нет.

Долина



Ночь разлеглась над миром, подоткнула тщательно горизонтовы края – чтобы ни лучика света, ни дыхания сквозняка, – присыпала дно неба звездной мелочью, притушила звуки-голоса, выпустила сов и летучих мышей – стеречь тишину. Совы, надменно ухая, летали среди деревьев, едва касаясь ветвей концами своих широких крыльев. Летучие мыши порхали так низко, что приходилось каждый раз втягивать голову в плечи – Карен до сих пор помнил детские страшилки о том, что, если они вцепятся в лицо – будет уже не отцепить.

«Придется жить с летучей мышью на лице, пока она не состарится и не умрет», – звонко хохоча, дразнила его Лусине. «Ахчи^[13], не видишь, что ему страшно? Ты почему такая маленькая и такая вредная?!» – заступалась за племянника тетка Арменуш. Она была старше Карена на двенадцать лет и опекала его, как брата. Карену была приятна такая забота, но он каждый раз сердито одергивал тетку: «Да не боюсь я, просто противно!» На Лусине он обиды не держал – чего обижаться на девчонку, на которой решил жениться! А женится он на ней обязательно, вот только подрастет. Года через три точно женится. Лусине тогда было шесть, ему – девять.

С поста долина видна была как на ладони. Карен знал наизусть каждую ее пядь и даже сейчас, в почти крошечной ночной темноте, мог легко различить ломкое русло реки, змейку дороги, тянущуюся к подножью Девичьей скалы, и край заброшенного виноградника – он начинался с околицы Берда, тянулся к самой границе – несколько гектаров одичалого винограда, к которому почти два десятилетия не прикасалась рука человека.

Вчера днем приходила Лусине, на пост ее, конечно, не пустили, но дали им немного побыть наедине – все понимаем, влюбленные, трудно по пятнадцать дней находиться в разлуке. Они просидели все отпущенное время, держась за руки. Лусине рассказывала о деде, похоронившем корову, о прабабушке, которая не помнит ничего, кроме своих счастливых дней. О матери привычно молчала. У нее огрубели кончики пальцев и окрасились в черное ладони – чистила незрелые орехи для варенья. Украдкой оглядываясь, чтобы никто не видел, – а то замучают потом насмешками, Карен перецеловал каждый ее пальчик. Лусине их охотно подставляла, приговаривая: «Ты не думай, они скоро отмоются». «Да если бы даже остались такими!» – выдохнул Карен. «Все равно бы любил?» – «Все равно бы любил».

В ногах, залитая солнечным светом, простиралась долина – полетному щедрая и умиротворенная. Хотелось скинуть туфли, набрать полные легкие ветра и пуститься наперегонки от одного ее края до другого, до самой границы. Спрятаться в разросшихся кустах винограда, целоваться до одури – вдали от множества глаз, от людского внимания. Лусине свернулась бы калачиком, прижалась к нему, он приобнял бы ее одной рукой, а другой аккуратно срывал с виноградной лозы вьющиеся усики и ел, гримасничая от кислинки. «Он ввел меня в

дом пира, и знамя его надо мной – любовь»^[14], – шептала бы она, и он бы слушал, млея от нежности. «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей», – продолжала бы она. «Какие такие мои плоды сладки для гортани твоей?» – заерничал бы он. Она бы вывернулась, треснула его по лбу – балбес! Он прижал бы ее к себе – от балбески слышу! Им до боли хотелось скинуть обувь и пуститься наперегонки вдоль заброшенного виноградника, но они сидели, взявшись за руки, и наблюдали долину, в которой ни разу не были. Дети войны, навсегда запомнившие основное ее правило: здесь – родная земля, там – чужая. Между – ничейная, отторгнутая жизнью нейтральная полоса, дорога в которую отрезана всем.

Карен наблюдал долину днем и ночью каждые пятнадцать дней – срок, который ежемесячно служили мужчины, набранные из гражданского населения. Работы в приграничном, вечно воюющем регионе было не найти, вот они и подались на военную службу. Рискуешь жизнью, зато хотя бы деньги домой приносишь. Карен служил попеременно с отцом. Так и жили – первую половину месяца сын границу стережет, вторую половину – отец. Почти не виделись, зато дом и хозяйство были под присмотром, – матери с сестрой без мужской помощи не справиться. Да и младшей сестре отца, тетке Арменуш, помощь нужна. Отцу служба давалась с большим трудом – он воевал, вернулся домой калекой: с перебитым позвоночником, с осколками по всему телу. Вопреки прогнозам врачей – пошел. Осколки в теле иногда давали о себе знать – отец мучился болями, но старался не жаловаться, только отшучивался, мол, вы, главное, следите, чтобы молния не угодила в меня, она-то, дура, в любое металлическое бьет, а во мне столько железа, что, если выковырять, можно добротный плуг отлить. Карен лишь однажды видел его в плохом настроении, года два назад, когда приехал муж тетки Арменуш. Отец тогда помылся, побрился, показал матери, где спрятаны сбережения, надел чистую рубаху и ушел убивать непутевого зятя. Еле с полдороги вернули.

К энбашти^[15] тишина сгустилась над долиной, приглушив уханье сов и шум ветра в кронах вековых дубов, но сразу же следом завывили-заплакали шакалы, навевая беспросветное отчаяние и тоску. Придя с войной, они, похоже, остались в этих краях навсегда. Их мерзкий вой стелился вечерами над домами, нагоняя страх на людей и домашнюю

живность и доводя дворовых собак до бешенства – те лаяли до хрипоты, вырываясь из цепей. Шакалы были частью войны, они пахли ею.

Луна скользила по небосклону, озаряя его своим блеклым сиянием, Карен, разглядев ее маревный нимб, обрадовался, значит, утром опустится молочно-белый непроглядный туман и крестьяне смогут собрать урожай. Работать приходилось ночами или же в туман – в ясную погоду с той стороны границы прицельно били по мирным людям. Еще одного правила войны – сей страх бессмысленными жертвами – противник держался неукоснительно, не щадя ни малых, ни женщин, ни стариков.

Зашипела рация, Карен ответил и, уже отключившись, подметил справа, на самом краю виноградника, движение. В бинокль удалось разглядеть тень – не особо таясь, кто-то бежал напролом через нейтральную полосу к границе. Времени на раздумья не было, он вскинул винтовку, прицелился – все одно свой в ту сторону прорываться не станет. Подкошенная пулей тень рухнула, следом снова зашипела рация, Карен докладывал обстановку на бегу – «пост не покидать!» – рывкнула рация, но было уже поздно – он уже находился на полпути к тому месту, где лежал подстреленный. «Пришлите кого-нибудь на мое место», – выдохнул он, не замедляя бега. «Молись, чтоб он живой остался», – рывкнула рация и, зло выругавшись, отключилась.

Мужчина бездвижно лежал на животе, Карен пнул его ботинком, держа на прицеле, тот глухо застонал, попытался повернуться на бок, но не смог, только выдернул из-под себя руку – она была выпачкана кровью по локоть. Карен перевернул его на спину и обомлел – это был подросток, лет четырнадцати от силы, сильно избитый, с ушибами и ссадинами на лице. Быстро обыскав его и не обнаружив оружия, Карен осмотрел рану – она располагалась чуть ниже левых ребер, сильно кровоточила – но, кажется, была несмертельна. «Азери?» – спросил он, юноша не ответил, но заплакал.

Военные подоспели буквально следом, а дальше закрутилась обычная рутина – рассказать, как все было, написать объяснительную, почему не подчинился приказу и покинул пост, выслушать положенную по случаю ругань – капитан, знающий его чуть ли не с пеленок, припомнил ему даже прадеда Анеса: «Парень, ты такой же блаженный, как он, зачем пост оставил, вдруг это диверсия или обманный маневр,

ты на войне или где?» – грохотал он. Отругавшись, вытащил две сигареты, одну протянул ему – кури, дурак.

Закурили.

– Знаешь, откуда этот азер?

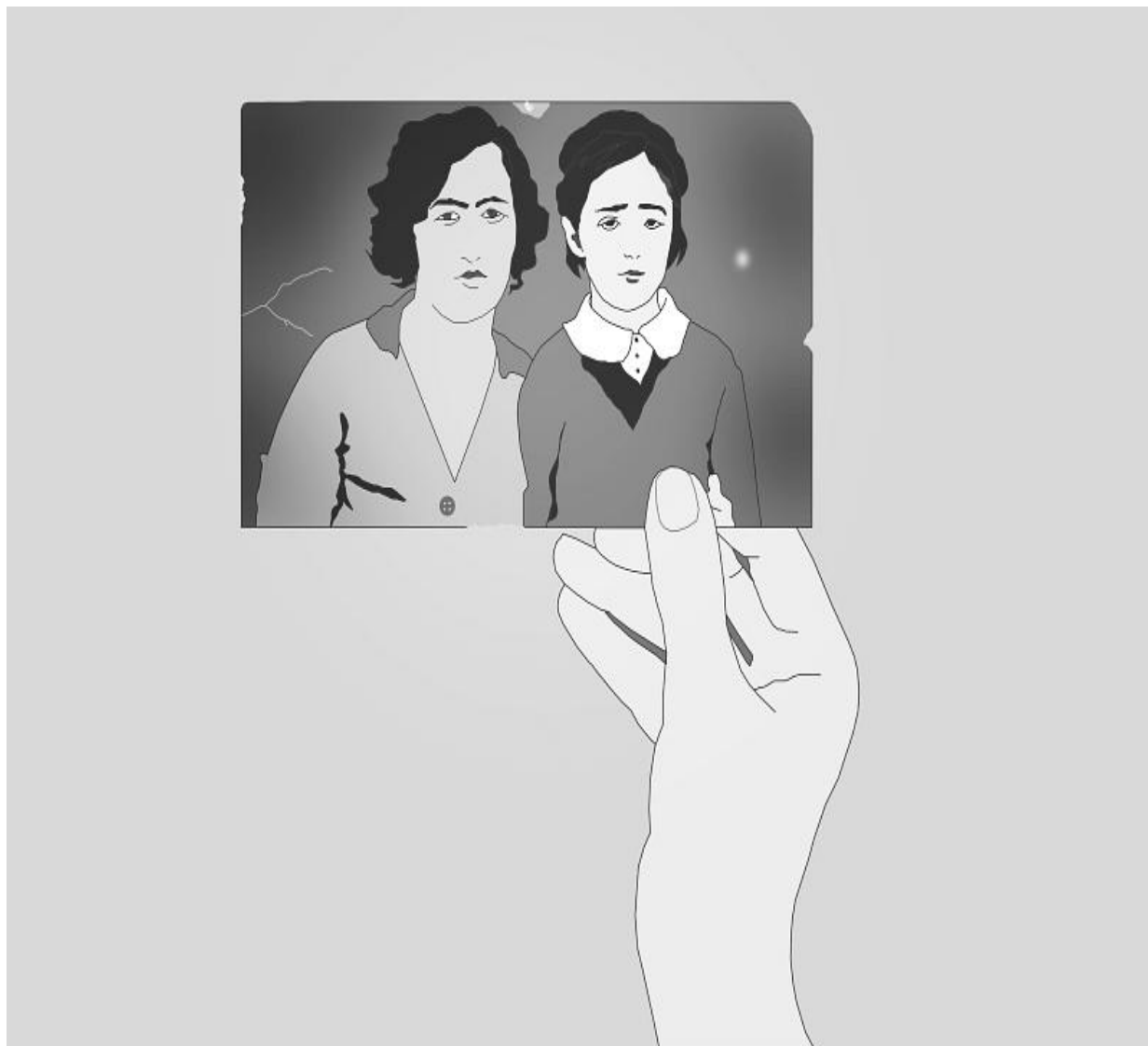
– Никак нет, парон^[16] капитан.

– Из Омарбейли. Обменяем. На наших, если получится – на двоих.

Карен неловко – совсем недавно научился курить – повертел в пальцах сигарету, обжегся. Глянул искоса на капитана. Тот коротко кивнул:

– Если не получится на двоих обменять – на одного обменяем, но с условием: пусть носом землю роют, но ковер найдут. Вернем мы ковер Антарам, я ведь тебе слово давал. Вернем.

Ожидание



Колинанц Цовинар было восемь лет, когда пропала ее мать.

Отец не хотел отпускать ее одну в город, но мать настояла, чтобы он остался: «Так мне будет спокойнее». Так ей действительно было спокойнее – за свекровь, за дочь, за хозяйство. Вон, промытая и тщательно взбитая шерсть сушится, кто ее соберет? Обед кто разогреет-подаст? Свекровь слегла с приступом подагры, Цовинар всего восемь, одна она не справится. Отец скрепя сердце уступил. К полудню пришла весть, что сдали тот отрезок дороги, по которому автомобили ходили за

Совиную гору. Потом – что бой случился спустя недолгое время после того, как рейсовый автобус, на котором уехала мать, вырвался к перевалу.

Цовинар в то утро проснулась ни свет ни заря от всполошенного чирикания воробьев – не поделивши добычу, они затеяли склоку на грядках базилика. Ушла на кухню, шлепая босыми ногами по прохладному полу, вернулась с краюхой хлеба, выкрошила ее за окно. Понаблюдала с любопытством, как мигом отвлекшиеся от склоки воробьи живо подбирают крошки. У самого маленького топорщились несколько сломанных перышек – неужели ранен? Но он, наевшись, резво вспорхнул и улетел, коснувшись крылом каменной стены дома. Цовинар вытянула шею, проследила, как он, нырнув в утренний туман, снова вынырнул, будто для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, и скрылся уже навсегда. Густой и вязкий туман отступал медленно и неохотно: то в ветвях старой айвы запутается, то на кроны дубов присядет – якобы дух перевести. Под его укрывистым краем можно было разглядеть дно заброшенного, порченного сорняком одичавшего виноградника. Оставшись без присмотра, виноград разросся и обвил опоры густым слоем – кое-где, не выдержав тяжести, они провисли или вовсе опрокинулись.

Мать была беременна, ела и не наедалась. Все удивлялась, как может в человеке столько всего уместиться. Уверяла, что будет мальчик, ведь когда она ходила с Цовинар, о чувстве голода забывала напрочь, ела через силу, и то только хлеб с сыром, ну и яблоки – их она всегда поглощала в большом количестве. Отец надыхаться на нее не мог, ни в чем не отказывал. Впрочем, она ничего особенного и не просила, если только домашней ветчины – именно той, которую делал Немецанц Алексан. У Алексана прадед из немцев, потому копчености у него получаются вкуснее, чем у других – ведь не зря говорят, что никто лучше немцев не умеет вялить свинину. Отец в последнее время ветчину в долг брал – зарплаты не хватало. Алексан не отказывал – отдашь, когда сможешь.

К шестому месяцу у матери стало скакать давление. Местный врач выписал направление в город – к хорошему специалисту, предупредил, что могут положить на сохранение. Мать замахала руками:

– Какое сохранение, попрошу назначить таблеток и домой вернусь!

Цовинар проводила ее к остановке. Мать улыбалась из автобуса – румяная, круглолицая, счастливая. Развернула шоколадную конфету, откусила половину, другую протянула дочери. Ей пришлось сильно изгибаться – круглый живот мешал высунуться в окно.

– Ешь сама, – замотала дочь головой.

Мать доела конфету, виновато улыбнулась – уже проголодалась.

– Бутерброды взяла? – заволновалась Цовинар.

– Взяла. – И мать развернула вторую конфету.

Бабушка поднялась с постели сразу же, как пришла страшная весть. Собрала шерсть, подмела двор. Замесила тесто на хлеб. Работала молча, на боль не роптала. У нее были непростые отношения с невесткой, и теперь она искупала каждое брошенное в обиду горькое слово непосильным для себя трудом. Цовинар видела, как она провела узловатыми, скрученными недугом пальцами по стопке проглаженного невесткой белья: сверху вниз и справа налево. Прижалась лбом, постояла так. Убрала в бельевой сундук. Движения ее – размеренные, однообразные, выглядели бесконечной молитвой о спасении.

Дорогу к перевалу отбили к вечеру следующего дня. Отец сразу же уехал на поиски. Вернулся осунувшийся, с потухшим взглядом и изменившимся до неузнаваемости лицом. Цовинар никак не могла взять в толк, что с ним не так, пока не сообразила – проседи в волосах поприбавилось, от этого брови казались необычно темными и густыми и придавали лицу угрюмое, нелюдимое выражение. К концу недели отец совсем поседел. Записался в добровольцы, ушел на границу.

«И каждая дума мечтою была, и каждый порыв добела был нагрет, и даль нас из темного мира звала...» Отец раньше часто читал Терьяна^[17] и рассуждал о всепрощении и о том, что человеческий дух сильнее испытания. Цовинар навсегда запомнила эти слова.

Каждый день к семи часам вечера она собирала кое-какую провизию: хлеб с сыром, чай в термосе, горсть конфет и яблоко. Ходила к автобусной остановке, садилась на скамейку – и ждала. Она знала – если мать вернется, первым делом ее нужно будет покормить, она ведь в последнее время ест как не в себя. Отец смеялся – пупок не развяжется? Может, и развяжется, отвечала мать, наливая себе третью порцию куриного супа.

Время ползло медленнее черепахи: июнь, потом июль. От отца никаких известий, бабушка молча вела дом. Ходить к остановке не

запрещала, но каждый раз плакала вслед.

Однажды Цовинар проснулась от мужского кашля. Выбежала из комнаты, повисла на шее отца. Он исхудал и оброс, курил, сильно ссутулившись, держа зажженную сигарету в кулаке. В углу комнаты дулом вверх стояла винтовка, пахла порохом и смертью.

– Пойдем покажу, – велел ей отец и направился к выходу. – Только надень что-нибудь.

Цовинар сдернула с вешалки первое, что попало под руку, накинула на плечи, заспешила следом. Он остановился на лестнице, погасил о перила недокуренную сигарету, выкинул во двор. Цовинар поспешно отвела взгляд – раньше отец не стал бы так поступать.

Он двинулся дальше, не дожидаясь ее, будто не сомневался, что она пойдет за ним, и она шла, только несколько раз спросила – мы куда? Он не ответил, но ускорил шаг, и она побежала за ним, потому что вдруг испугалась, что, если потеряет его из виду, не увидит больше никогда. Отец остановился у сарая, загремел тяжелым ключом, отпирая навесной замок, – Цовинар, удивившись тому, что на никогда не запиравшейся двери сарая появился замок, молча наблюдала. Вошла следом, постояла какое-то время, привыкая к темноте. Различила в углу тень, ахнула: на земле лежал человек. Руки и ноги были крепко перетянуты веревкой, рот забит кляпом, лицо в корке крови.

– Заложник, – бросил через плечо отец. – Взял, чтобы обменять.

Сердце Цовинар готово было выскочить из груди.

– Мама нашлась?

Отец сухо кашлянул.

– На случай, если найдется.

Цовинар заплакала.

В полдень она заглянула в сарай. Мужчина лежал на боку, всхлипывая, натужно дышал. Она испугалась, что он задохнется, вытащила кляп. Смочила платок, протерла ему лицо. Под коркой крови и грязи обнаружилось совсем молодое, почти детское, лицо.

– Пить хочешь? – спросила Цовинар.

Юноша замотал головой. Она сходила в дом, заварила чаю, перелила в термос – чтоб не расплескать по дороге, вернулась. Налила в крышечку, поднесла к его губам, он испуганно отпрянул.

– Пей!

Юноша заплакал.

– Пей! – попросила Цовинар.

Дверь резко распахнулась, в проеме возник отец.

– Ты что тут делаешь?

– Напоить хотела, – обернулась к нему Цовинар. – А он не пьет, боится, наверное, что чай отрав...

Отец схватил ее за плечо, грубо дернул вверх, заставляя подняться.

– Ты кого чаем поить собралась? Ты! Кого! Чаем! Поить! Собралась?!

Лицо его – страшное, неузнаваемое – нависло над ней, Цовинар зажмурилась, чтобы не видеть отца таким, каким не хотела его знать. Термос выскользнул из пальцев и, обдав ногу кипятком, покатился по полу.

С шумом отворилась дверь сарая:

– Сынок, сынок! – закричала бабушка.

Отец выпустил ее плечо. Выскочил, в сердцах пнув термос. Тот отлетел к стене и, жалко хрустнув, рассыпался на осколки.

Цовинар утерла слезы. Сердце билось так, что казалось – не выдержит и разорвется. Она несколько раз глубоко вздохнула, унимая колотьбу в груди, подняла упавшую куртку, которую накинула на плечи, выходя из дому, надела ее, бесцельно пошарила в кармане, нашла конфету. Развернула, откусила половину. Прожевала и проглотила, не ощущая вкуса. Подошла к заложнику.

– Видишь, не отравленная.

Она поднесла к его губам конфету. Он с жадностью съел.

Пахло от него потом и нечистотами, крепко связанные руки и ноги кровили там, где веревка натерла кожу. Цовинар хотела ослабить ее, но бабушка не дала, только помогла ему подняться и привалиться спиной к стене. Попросила внучку принести теплой воды, мыло и старые кухонные полотенца, которые отложила на тряпки.

Отца дома не было, винтовка исчезла, оставив на побелке неопрятный темный след. Цовинар смочила палец слюной, попыталась оттереть грязь, но сделала только хуже.

Вечером она снова заглянула в сарай. Юноша спал, свесив голову на грудь. Она разбудила его, напоила чаем. Он поднял на нее глаза, хотел о чем-то спросить, но не решился.

– Не бойся, – сказала она.

Дождавшись глухой ночи, бабушка развязала веревки, вывела его к заброшенному винограднику. Показала, в какую сторону идти. Он поцеловал ей руку и канул в темноту. Какое-то время было слышно, как он продирается сквозь заросли, потом настала тишина.

К следующему вечеру Цовинар собрала немного припасов: хлеб с сыром, обязательную горсть конфет и яблоко. Без четверти семь она сидела на скамейке автобусной остановки и, придерживая на коленях узелок с едой, ждала маму.

Лето



У Пэл-Анесанц Арменуш пять дочерей: старшей шестнадцать, младшей – семь.

У Пэл-Анесанц Арменуш корова Косуля, коза Тило, собака Валет. Ну и всякой домашней птицы полный курятник: безымянные цесарки, гуси-куры-фазаны. И индюк Душман – сволочь и террорист, держащий в страхе всю округу. Арменуш аж руками разводит – ишь, бессовестный, собаке сто очков вперед даст. Валет виновато скулит, прячет нос в лапы. В отличие от индюка, он добрый самаритянин:

заходи в дом, забирай что хочешь, возвращать не надо. Душман же словно вестник апокалипсиса: пестроглазый, всклокоченный, лютый. Толстый и криволапый, но на удивление резвый: с места сто двадцать берет. Идет на таран, не разбирая дороги. Каждый непрошенный гость – кровный ему враг. Налетает, кулдычет, норовит вытолкать в калитку. Недавно к соседям городские приезжали – на черной машине. Душман разглядел свое отражение в ее лакированном боку, записал во враги, извелся, атакуя. Не сразив соперника, с досады выдрал на своей груди клок перьев.

Арменуш его потом совестила:

– Перед людьми нас позоришь. Как тебе не стыдно!

Душман молчал, скривив в презрительной ухмылке клюв.

– Вот ходи теперь плешивый и встрепанный!

– А-хло-кло-кло-кло-кло!

– Захрмар^[18]! Сам позорится, сам ругается!

Всякое утро Арменуш похоже на другое, всякий вечер повторяет предыдущий. И последующий. Подоить и выпустить в стадо корову и козу. Задать корм птице. Прополоть и полить огород. Прокипятить молоко, часть пустить на сливки и масло, остальное – на творог и сыр. Замесить тесто. Подгонять младших дочерей, чтобы те убрались в своей комнате. Затопить печь. Накрыть стол к завтраку. Проследить, чтобы кто-нибудь из девочек вымыл посуду – по своей воле не станут, отлынивают от домашней работы. Испечь ореховую гату, дать ей остыть, сложить в ивовую корзину. Снарядить старших дочерей на базар – продавать. К полудню, когда солнце, дыша печным жаром, утвердится на макушке небосвода, развесить во дворе выстиранное белье и наконец-то разогнуть спину. Немного отдыха – и по новой: глажка, готовка, шитье-штопанье. Дождаться возвращения старших дочерей, накрыть стол к ужину. Загнать птицу в курятник, попутно совесть Душмана. Встретить стадо. Подоить корову и козу. Часть молока пустить на мацун, другую убрать в холодный погреб. Не забыть пожелать доброй ночи Валету. Проследить, чтобы девочки помылись и высушили волосы. Заплести им косы. Благословить перед сном.

Ночью, когда луна выкатится из-за плеча Хали-кара и осенит притихший мир несмелым сиянием, Арменуш притушит в доме свет, зажжет масляную лампу и заварит себе чаю с чабрецом. Разложит на столе листы бумаги, придирчиво перечитает то, что написала вчера,

вычеркивая целые предложения и абзацы. Перепишет. И продолжит с прерванного места:

...хочется, чтобы вечное лето. Чтоб крыши, опаленные солнцем. Чтоб лился жарким полднем на ладони настойчивый стрекот цикад. Чтоб птичий гомон и поздние закаты. Чтоб небо по ночам густое и близкое – встал на цыпочки и зачерпнул полные пригоршни черничного молока. Чтоб ветер шумел в высоких дубовых кронах – так, как умеет только он. Так, словно дышит: хишии-ишии, хишии-ишии...

Засыпает Арменуш далеко за полночь. Просыпается ни свет ни заря.

– Может, сегодня папа приедет? – спрашивает младшая за завтраком.

– Может, приедет, – соглашается Арменуш.

Старшие переглядываются, фыркают, но, поймав взгляд матери, притихают. Отца они видели два года назад. Приехал на неделю, уехал.

Деньги, правда, исправно присылает, небольшие, и все же. Иногда звонит – доченьки, доченьки. Младшие с ним охотно общаются, старшие поздороваются – и передают трубку. Арменуш увещевает – поговорите с ним, это же ваш отец, родная кровь, опора и защитник. Старшие сердятся: «Какой он нам защитник?! От Душмана больше толку, чем от него. И даже от Валета толку больше!»

– Выросли, справляться с ними сложно, – делится Арменуш потом с соседкой Нуник.

– Ну а что ты хотела. Большие уже девочки, все понимают, – водит плечом соседка.

– Отца не понимать надо, а любить, – возражает Арменуш.

– Хватит того, что ты любишь!

– Не знаю даже – люблю или нет.

– А то не любишь. Он по бабам шлялся, а ты ему детей рожала. И сейчас бы родила, если бы он приехал.

Арменуш вздыхает.

Ей с детства твердили: самое важное в любви – жертвенность. Ты армянка, ты должна быть преданна всем, кого любишь, – родителям, мужу, детям. Сначала они, потом – ты. Вот и весь смысл любви.

Она была преданна настолько, насколько хватило сил: почитала родителей, беззаветно любила детей и племянников, самозабвенно ухаживала за тяжело раненым мужем – тот шел на поправку

мучительно долго, неохотно, страдал кошмарами. Уснет – и сразу просыпается, в поту и слезах. Выправился – пошел по бабам. Может, от смерти убежал, а может, по жизни стосковался. Вернувшись из загула – стоял на коленях, просил прощения, обещал больше не вести себя так. Она прощала, рожала ему очередного ребенка. Он снова пропадал. А потом и вовсе уехал. Денег присылал мало, Арменуш их не тратила, хранила в шкатулке. Справлялась своими силами – пекла, шила и вязала на продажу, не чуралась тяжелой домашней работы: бралась мыть ковры, перо и овечью шерсть, простегивала тяжеленные деревенские одеяла, набивала подушки, помогала с уборкой урожая и заготовками на зиму. Крутилась, как белка в колесе, но концы с концами сводила. На вопрос старших дочерей, почему не тратит присланные их отцом деньги, пожимала плечами. Пусть лежат – там видно будет.

...хочется, чтобы вечное лето. Чтоб грозы – неожиданные и скоротечные, выводящие жестяную дробь на водосточных трубах. Чтоб молнии, какие бывают только в горах – пятипалые, смертоносные, каждая словно воткнутое в землю копьё небесного аждаака ^[19]. Выйти на веранду в самую грозу, ничего не бояться, молнии не бьют тех, кто их не боится, ступать босыми ногами по мокрому дощатому полу – и дышать: хишиш-шиши, хишиш-шиши...

Бердцы считают Арменуш блаженной. В прадеда своего пошла, в Анеса, которого все за юродивость называли «пэл» – дурачок. Тот отказывался брать одолженные деньги. Мол, они вам нужней. Жил скромно, почти в нищете. Станный был человек, от Бога. Сказки сочинял – диковинные, нездешние. Про слепых морских чудищ, что питаются людскими грехами и оттого никогда не видят дневного света, про птицу Мира, которая уже пять тысяч лет реет высоко в небе и не опускается на землю, потому что приземлиться она может только там, где нет войны. А на земле везде война.

Пэл-Анесанц Арменуш определенно пошла в своего прадеда, утверждают бердцы. Взвалила на плечи весь мир и несет: дочерей, дом, хозяйство. Никудышного мужа выгораживает. Ходят слухи, что он на широкую ногу в городе живет, а гроши присылает, чтобы не говорили, что семью бросил. Другой бы в суд на алименты подал, а Арменуш любит его, ждет. Старших дочерей совестит за то, что с отцом отказываются общаться.

– Гордость надо иметь, гордость! – не вытерпев, ругается соседка Нуник.

– Я счастливый человек, зачем мне гордость? – удивляется Арменуш.

– В смысле счастливый? – у соседки от возмущения срывается голос.

Арменуш с ней не спорит.

– Ты пока красивая и еще молодая – всего тридцать шесть лет. Как свою дальнейшую жизнь представляешь? – запальчиво продолжает соседка.

– Хорошо представляю: выучить и выдать замуж дочерей. А потом нянчиться с внуками. Даст бог – их будет много. Во мне столько любви, что на всех хватит.

Душман сердито кулдычет, косится пестрым глазом в щель забора – Арменуш ушла к соседям, а его с собой не взяла. Мало ли, вдруг обидят.

– А-хло-кло-кло! – ругается он. Не дождавшись ответа, разгоняется и бьется лысой грудью о забор.

– Пойду, пока не убился, – виновато смеется Арменуш.

– Хоть какая-нибудь мечта у тебя есть? – не сдается Нуник.

Пел-Анесанц Арменуш убирает волосы со лба, задумчиво улыбается.

– Мечта? Есть. Хочется, чтобы лето не заканчивалось.

...хочется, чтобы вечное лето. Чтоб ходить по улицам и собирать, словно ромашки, улыбки людей. В каждой улыбке – солнце. Охапки солнц. Никому не жалко, все раздают. Я не плачу, я собираю. Мне не сложно, я смогу!

Молитва



Вот уже много лет Сафаранц Нуник не покидала пределов своего двора. С того дня, как, вернувшись с похорон брата, она обнаружила на месте каменного двухэтажного дома и ухоженного плодоносного сада разъявленную воронку, ее нога за калитку не ступала. Дом восстановить не представлялось возможным, это как если заново собрать раскрошенный каравай кукурузного хлеба, безучастно думала Нуник, перебирая в руках осколки обугленных камней. Сил на плач не осталось – все слезы она выплакала на похоронах. Брату было сорок два,

молодой, сильный, красивый, но безрассудный и упертый, как, впрочем, все мужчины рода Сафаранц. Работал на автовокзале шофером, возил людей из воюющего Берда в большой мир. Когда на перевале пропал автобус с пассажирами, Нуник чуть не в ногах у него валялась, умоляя уволиться с работы. Брат пожал плечами – а кому людей возить?

– Кому-нибудь другому, – рассердилась Нуник. – У тебя семья, дети...

– А у других, значит, не семья и дети! – передразнил ее брат. И добавил с раздражением: – Хотя бы ты меня не пили. Жена вон всю плешь проела.

– Мы же любя! Мы же волнуемся за тебя! – всхлинула Нуник, мгновенно объединившись с невесткой, которую терпеть не могла за недалекость и пустословие. Брат тогда расхохотался, чмокнул ее в висок, но твердо попросил такими просьбами не доставать. Нуник ничего не ответила, но и заводить на эту тему разговор впредь не решалась. Молилась за брата, как умела – Аствац^[20]-джан, сохрани и спаси, сам знаешь, он у меня один-единственный, других родственников нет. Аствац внимал молча, не поймешь – слышит тебя или нет. Но Нуник не отчаивалась, ходила в часовню, ставила свечи: за здоровье, за долгую жизнь. Самую большую свечу зажигала под образом Богоматери – Мариам-Аствацацин, хоть ты не оставь без внимания мою просьбу! Часто делала матах^[21], строго следя, чтобы обряд не приходился на среду и пятницу, и чтобы не на дни поста. Берегла петушков, как зеницу ока, к осени не забивала. Люди обычно как поступают? Оставляют в курятнике самого сильного и драчливого петуха, других же пускают в пищу – толку от них все равно никакого: не несутся, цыпят не высиживают, лишь зерно изводят да глотку без дела дерут. Но Нуник петушков берегла для жертвоприношения, ведь на матах годятся только самцы. Правила обряда требовали, чтобы жертву приносил мужчина, потому она договаривалась с Биноянц Григором, который после возвращения с Севера никому в помощи не отказывал и каждому старался подсобить. Григор не только резал петуха, но и, несмотря на протесты Нуник, чистил его: ошпаривал в крутом кипятке, дотошно и аккуратно ошпаривал, следя за тем, чтобы не повредить кожу. Тщательно помыв тушку, приступал к потрошению: надрезал до грудины, осторожно убирал внутренности, стараясь не порвать

желчный пузырь, промывал желудок от остатков корма. Прodelывал все это в безмолвии, если Нуник что-то спрашивала, отвечал односложно, чаще ограничивался кивком или отрицательно мотал головой. Нуник его молчание не задевало, она, немного побыв рядом, уходила варить кофе. Возвращалась с дымящейся чашечкой и кусочком выпечки. Григор кофе выпивал, а к сладкому не притрагивался.

Нуник отваривала птицу в воде с освященной солью, разрезала на семь кусков и, разложив на подносе и накрыв холщовой салфеткой, разносила по семи домам. Голову и ноги петуха, крепко-накрепко обмотав красной шелковой лентой и сухой травой, вешала на ветку жертвенного дерева – чтоб отвести сглаз нечистой силы. Потом обращалась к небу: «Аствац-джан, ты свидетель, все, что от меня требовалось, я сделала. Прочее оставляю на твою милость».

Брат погиб в самое летнее пекло. Подбитый снарядом, рейсовый пазик рухнул в ущелье, унеся с собой восемнадцать жизней. Спасся только Левон, младший сын Заргинанц Атанеса. Его взрывом вышвырнуло из горящего автобуса на обочину дороги.

Весть о гибели брата настигла Нуник за работой – она как раз собралась печь хлеб. Ей потом рассказывали, что, услышав о случившемся, она молча домесила тесто, накрыла его, чтоб не сохло, холщовой салфеткой, вымыла руки, вытерла их тщательно полотенцем – и рухнула в обморок. Она ничего этого не помнила. Очнувшись больной, с погасшим взглядом и трясущимися руками. Здоровье постепенно выправилось, а вот дрожь в руках осталась. Обычно она была незаметна, но, если Нуник нервничала, ладони сводило такой судорогой, что приходилось обхватывать себя крест-накрест руками. На похороны брата она пошла, превозмогая чудовищную головную боль – слегла с приступом мигрени. Во время церемонии прощания случился короткий обстрел, разорвалось несколько снарядов, но никто даже не повернулся, чтобы высмотреть, куда они угодили. Вернувшись с кладбища, Нуник обнаружила вместо своего дома руины. «Брат тебя от смерти спас, – сказал ей тогда кто-то из соседей, – не пойди ты на похороны...» «Лучше бы не ходила», – оборвала разговор Нуник.

С того дня она не покидала пределов своего двора – откуда-то решила, что смерть придет ее забирать именно сюда. «Один раз я ее обманула, второй раз не стану!» – заявила она своей невестке. Та было заплакала, но сразу же утерла подступившие слезы – не захотела

расстраивать золовку. Она теперь часто заходила в гости – якобы навестить, и детей присылала, но Нуник знала, что делает это невестка из страха – боится, что она сотворит с собой непоправимое. Нуник на это недоуменно пожимала плечами – если бы хотела, давно бы уже сотворила.

Отстроить небольшой – всего в две комнаты – домишко помог Биноянц Григор, со скарбом выручили соседи. Арменуш раз в неделю заглядывала за списком необходимых продуктов. Дни напролет Нуник шила и вязала – заказов у нее всегда было много, что в родном Ханларе^[22], что в Берде, куда они с братом в войну перебрались. Мать уезжать отказалась – осталась стеречь дом и имущество: когда-нибудь война утихнет и вы вернетесь. На уговоры тоже ехать отмахивалась: «Я ассирийка, меня не тронут». «Мама, ты же видишь, что кругом творится», – плакала Нуник. «Я старая, у кого рука на меня поднимется?» – так и не уступила мать.

Но у кого-то рука поднялась. Ее, словно тряпичную куклу, засунули в шину грузовика и заживо сожгли.

Нуник часто рисовала в воображении тот мир, где теперь обитают брат с матерью. Там течет река Гянджачай, там в каменных погребах бродит полусладкое вино, а на полках погребов дозревает прозрачная хурма – последний дар уходящего солнца, там сдержанно звонит колокол кирхи – немцев во Вторую мировую выселили в Казахстан, но кирху сносить не стали – так она и стояла, молчаливая, с заколоченными ставнями и дверями. Единственная дорога, ведущая в тот милосердный мир, утопала в зарослях ежевики, а могучие, согбенные от вечно дующих ветров платаны сомкнули над ней свои ветви, превратив ее в прохладную аллею.

Нуник знала – когда-нибудь и она окажется там. Ждала прихода смерти терпеливо, с достоинством. Не торопила время, но и не цеплялась за жизнь. Иногда, проводив взглядом редкого здесь скользящего в небе сокола, замирала на секунду, глядя куда-то вверх, словно в ожидании какого-то знака, но потом со вздохом опускала глаза. К Богу она с просьбами больше не обращалась.

Возвращение



Бинойц Григор возвращался домой.

Рейсовый автобус, надрывно взывая мотором, брал один поворот серпантина за другим. На лобовом стекле покачивался широколапый деревянный крест – Григор отвернулся, чтобы водитель не заметил его улыбки, – по таким характерным крестам он вычислял за границей автомобиля земляков. Оник очень любил иронизировать по этому поводу.

– Если бы могли, горы бы тоже увозили, – часто повторял он. – Такое впечатление, что, уезжая, забирают с собой все: от привычного вида из окна до могильных камней предков. Сядешь в такую машину – и кажется, что, если обернуться, можно на заднем сиденье обнаружить Арарат.

Григор слушал молча, не возражал. Оник привык к его молчанию, потому сам спрашивал, сам отвечал.

– Ты когда-нибудь задумывался над тем, до чего мы странный народ? Народ-улитка.

И, поймав недоумевающий взгляд друга, поспешно уточнял – в хорошем смысле этого слова: все свое носим с собой.

Биноянц Григор возвращался домой. Дорога была длинной, почти нескончаемой. Справа тянулся неприкаянный и сирый лес – ноябрь на исходе, скоро зима. Слева дыбился отвесный склон Девичьей скалы, испещренный белесыми шрамами от стремительных и смертоносных селей, каждую Божью весну с чудовищным грохотом низвергающихся в бездонную пропасть Хузани-Кара. Двенадцать лет назад именно такой сель спас их жизнь. Была война, один из долгих дней боя, патронов почти не осталось, помощи ждать было неоткуда и отступить тоже было некуда, за спиной – родной Берд. Оник еще криво усмехнулся – даже застрелиться нельзя, на кого мы его бросим. Вот тогда и сошел сель – смертельной ледяной волной обрезал, словно бритвой, выступ скалы, откуда шел обстрел, и, пройдя от них буквально в полуметре, сгинул в пропасти.

Крестились в тот же день. Тер Вартан обошелся без церемоний – наспех пробормотал молитву, начертил на лбу каждого крест. Выйдя с ними покурить, не стерпел, съехидничал: «Не могли в мирное время прийти?» «Скажи спасибо, что вообще пришли!» – отрезал Оник. Тер Вартан махнул рукой – мало я вас в школе колотил. «Мало!» – согласился Григор.

Тера Вартана не стало через неделю – убило осколком во дворе часовни. Было три друга, стало два.

Биноянц Григор возвращался домой. Встречать его в город приехали самые близкие – жена, родители, вдова тера Вартана, жена Оника Манана с сыном.

В аэропорту у отца поднялось давление – перенервничал, когда объявили о задержке рейса. Мать плакала всю дорогу, успокоилась, лишь когда увидела сына. Обняла, прижалась к груди.

– Не отпущу тебя больше никуда!

– Я и не уеду, – ответил просто Григор.

Манана спросила одними губами: где? Он передал не ей, а ее сыну тяжелую урну. Тот дрогнул лицом, но не заплакал.

Когда загружались в машину, сообразили, что места для Григора нет.

– Как же так? Вроде всем места хватало! – смешался отец.

– А меня посчитали? – спросил Григор.

Отец замер с открытым ртом.

– Я на автобусе поеду, как раз скоро рейс, – вызвался сын Оника.

– Поеду я, – не терпящим возражений тоном объявил Григор и добавил, понизив голос: – Тебе лучше остаться с матерью.

Ехали вереницей: впереди рейсовый автобус, следом – машина отца. Рядом с ним, прижимая к груди урну, сидела Манана и утирала кончиками пальцев глаза. Когда автобус поворачивал направо, Григор видел в боковом зеркале ее заплаканное лицо.

Работали в три смены, трудно и беспросветно. Иногда мечтали, наивно, по-детски, как наконец разбогатеют, вернутся домой, откроют консервный цех. Станут производить все местное, вкусное: ореховое и кизиловое варенье, компоты из терна и дикой груши, печеные на огне овощи, настоящую, на чистейшем горном масле, кавурму^[23]...

– Я буду директором, ты – замом, – распорядился Оник и, не дожидаясь вопроса, пояснял: – молчаливый директор – смерть предприятию.

– А говорливый, значит, спасение? – возмутился Григор.

– Говорливый – залог успеха!

Когда Григор хотел подшутить над другом, так и называл его – Залог Успеха. Оник не обижался. Однажды он уехал за товаром и не вернулся. Лишь к утру пришла весть об аварии и сгоревшей дотла машине.

Оник всегда говорил, что проживет сто лет и один день. «Дождусь первого праправнука, а там как фишка ляжет». Фишка легла так: было три друга – остался один.

Девичья скала давно осталась позади, скоро покажется водохранилище, а за ним – Берд со столетними кипарисами, подпирающими куполами небеса.

Бинойнц Григор вез обратно все, что забрал с собой в далекую границу, – привычный вид из окна, могильные камни предков, Арарат – Большой и Малый. Свои несбывшиеся мечты, невыносимое бремя бытия.

Бинойнц Григор возвращался домой.

Тост



На Нугзара невозможно смотреть без улыбки: огненно-рыжий, с огромными зелеными глазами и кривым перебитым носом, отчаянно нависающим над верхней губой. Чтобы прикрыть лысину, он зачесывает волосы от уха до уха. Если ветер дует не в ту сторону – тщательно прилизанная прядь развеивается веером. Нугзар спохватывается, поспешно приглаживает ее растопыренной пятерней. Пунцовеет так, что кажется – сейчас задымится.

У Нугзара столько веснушек, что не сосчитать. Каждая размером с южный разлапистый подсолнух. Летом, когда солнце распускает людям веснушки, Нугзар превращается в цветущее подсолнуховое поле. Обгорает решительно и бесповоротно – красный, смешной, рыже-волосатый. Брат, подшучивая над его волосатостью, говорил, что, если Нугзара побрить, можно целый человеческий свитер связать.

– Не облысел бы – два свитера бы получилось, – добавлял от себя Нугзар.

По выходным он заглядывает в церковь. Помогает по хозяйству: приколотить, починить, мусор вывезти. Когда пришел туда впервые – старушки качали головами и все норовили объяснить, что он неправильно крестится: надо не справа налево, а слева направо. Сообразив, что православный, ревниво следили, чтобы не перепутал: все крестятся слева направо, вдруг он отвлечется и за другими повторит. Грузинский Бог, поди, обидится, кто разберет, что в головах этих богов творится! Нугзар зарывался лицом в веснушчатые ладони, смеялся так, что тело ходило ходуном.

– Вайме, что вы за люди!

– А ты думал! – важно цокали языком старушки.

Живет Нугзар у своей сестры Мананы – старшей невестки Казинанц. У Мананы двое сыновей и слепой свекор Оганес. Иногда Нугзар выводит его погулять. Завидев знакомого, предупреждает: вон, Аваканц Мишик идет.

– Здравствуй, Мишик-джан, – здоровается Оганес.

– Здравствуйте, Оганес-апи. – Мишик пожимает руку сначала старику, потом – Нугзару. По старшинству. Перекинувшись дежурными словами, расстаются, еще раз обменявшись рукопожатиями.

Нугзар ведет Оганеса, поддерживая под локоть, рассказывает последние новости Берда: «У Анхатанц Варужа третий ребенок родился». «Сын?» – осторожно уточняет Оганес. «Наоборот», – дипломатично возражает Нугзар. «Кто-то точно его сглазил. Третья дочка – это уже не шутки. Надо что-то делать!» – «Что надо делать?» – «Как что? Сглаз снимать!»

– Вайме! – всхлипывает Нугзар.

Мир большой, Берд – маленький, с булавочную головку. Однако иногда и туда выбираются люди из большого мира. Вон, недавно французы с норвежцами приезжали. Манана преподает в школе

английский, потому всех иностранцев приводят к ней. Нугзар разводит во дворе огонь. Пока жарится шашлык, он помогает сестре накрыть стол, несет из погреба ледяную самогонку. Гости быстро хмелеют – от питья и еды. Сыплют шутками, хохочут. Сидящий во главе стола свекор Мананы в самый разгар веселья поднимается, просит тишины.

– Батоно Оганес, не надо! – просит Нугзар.

Оганес обрывает его жестом, оборачивается к Манане (всегда безошибочно угадывает, где невестка):

– Переводи.

Манана становится по его левую руку. Гости умолкают. Нугзар выходит из комнаты, плотно прикрывает за собой дверь. Оганес поднимает стопку, говорит медленно, с достоинством, глядя перед собой незрячими глазами:

– Я хочу предложить тост за Нугзара, брата моей невестки Мананы. Я его лет пять уже не видел – как ослеп, так и не видел. Надеюсь, он мало изменился. Мало ведь изменился, Манана?

– Мало, – отвечает Манана. – Такой же рыжий и конопатый.

– Похож чем-то на артиста Депардье, – острит кто-то из гостей.

– Может, и похож, – соглашается Оганес. – А может – нет. Так получилось, что мы с Мананой осиротели. Я потерял сына, она – мужа, мои внуки – отца. Теперь Нугзар заботится о нас. Он – самый легкий человек из всех, кого я знал. Хотя жизнь его была совсем не легкой.

Оганес перекладывает стопку из одной руки в другую, приобнимает невестку за плечи. Манана опускает голову.

Притихшие гости ждут. В комнате повисает гнетущая тишина. Оганес пытается продолжить, но слова застревают в горле. Он откашливается, потом снова. И не может произнести ни слова. Горько усмехнувшись, наконец сдается.

– За нашего Нугзара! – И, одним глотком осушив стопку, медленно выходит из комнаты.

Гости удивленно переглядываются: чудной старик, хотел что-то рассказать, но не решился. Увлечшись разговором, о нем сразу забывают. Манана меняет тарелки – скоро хашламу^[24] подавать.

Казинанц Оганес идет по коридору, держась за стену. Тридцать шагов прямо, толкнуть дверь, повернуть налево – еще десять шагов, а потом снова прямо. Выйти на веранду, пройти в дальний угол. Взять у Нугзара папиросу, затянуться.

На заборе, наблюдая мир то одним, то другим желтым глазом, сидит петух. Недовольный увиденным, склочно кукарекает.

– Знаешь, как они по-нашему кричат? – спрашивает Оганес и сразу же отвечает: – Цух-ру-ху.

– А по-нашему кричат «кикликко».

– У вас, у грузин, все не как у людей.

– А у армян, значит, все как у людей, да? Сначала подумай, потом говори! – парирует Нугзар цитатой из любимого фильма.

Отсмеявшись, притихают. Долго, очень долго молчат. О том, как в деревне Нугзара была война. Как люди, покидая ее, отпирали хлева и крольчатники, чтобы живность не перемерла от голода. Как оставляли нараспашку двери домов – чтобы непрошеные новые хозяева их не выбивали. Заходи, живи, только не сноси.

Как Нугзар три дня пробирался к границе через хмурый непроходимый лес, потому что на дорогах беженцев грабили и убивали. Как тащил на себе труп брата – не захотел оставлять. Брату велели выкинуть сверток, который он вынес из отцовского дома, когда покидал его навсегда, выкинь – велели ему и ткнули прикладом в ребра. Он отказался, и его расстреляли. А когда он упал, сверток развернулся, и рассыпались веером семейные фотографии: грузинские дедушки и бабушки, акации в ботаническом саду, жаркий морской берег. Нугзар взвалил брата на плечи, нес три дня – через лес, через поле, через брод. Чтобы похоронить там, куда можно будет потом ходить – помянуть. Приехал к сестре в разных носках и с нарванным в поле букетом ромашек – не приучен был заглядывать в гости с пустыми руками, а последние деньги ушли на дорогу.

Оганес каждый раз порывается рассказать об этом своим гостям – и не может.

Нугзар преподает в школе физкультуру. Дети за глаза называют его ардж – медведь. Он действительно похож на медведя: большой, неповоротливый, косолапый. Дышит так, как нормальные люди храпят. Ученики его любят, но занятия часто пропускают. Нугзар их никогда не ругает – да и зачем ругать, малы еще, мозги неокрепшие, податливые. Учи, чему хочешь, научишь добру – будут добрые, научишь злу – будут злые.

Четырежды в год они с Мананой ездят к северной грузинской границе, к самой реке. На этой стороне – своя земля. На той – была

своя, а теперь чужая.

На могиле брата цветут горные ирисы – нежно-лиловые, воздушные.

Здравствуй, дзамико^[25], вот и мы. Вот и мы.

Хачкар



За многие века хачкар^[26] старого Берда ушел в землю по пояс, ссутулился и покрылся ржавым мхом. Никто не знает и даже приблизительно не сможет подсказать, сколько ему лет. О его существовании не догадывались до той поры, пока в позапрошлом веке не случилось сильное землетрясение, обвалившее часть средневековой крепостной стены и то крыло Хали-кара, которое, перекрыв русло реки, собирало ее воды в неглубокое чистое озеро. Вот тогда и обнаружился хачкар – стоял в одиночестве в изложине двух скал, невредимый и

неприступный, защищенный со всех сторон от ветров и вражеских стрел, крест на нем был простой и безыскусный, наугад прочерченный неумелой рукой того, кто так и не уразумел смысл своего оставляемого потомкам послания. Бердцы редко выбирают к хачкару – идти далеко и бессмысленно, уж лучше тогда в часовню наведаться – и путь ближе, и есть где от непогоды укрыться. Но Аваканц Мишик ходит к хачкару каждую неделю. Собирается он туда после полудня, доверив бакалейную лавку тринадцатилетнему помощнику портного Масису. Масис, хоть и расторопный малый, но торговать не очень умеет, потому Мишик старается навещать хачкар по вторникам – почему-то именно в этот день в лавке меньше всего народа. Перед тем как выйти, он смальвает хорошего кофе, отсыпает в бумажный кулек. Придирчиво выбирает сухофрукты: изюм, финики, чернослив. Набирает горсть шоколадных конфет – обязательно с разной начинкой. Сложив все в пакет, желает доброго дня Масису.

– Не волнуйтесь, справлюсь, – успокаивает тот его на прощание.

– Если бы думал, что не справишься, не оставлял бы на тебя лавку! – отвечает Мишик.

До хачкара добираться час с лишним. Аваканц Мишик проделывает этот путь много дольше. Ступает медленно, степенно, с радостным любопытством наблюдает Берд, примечая малейшие изменения в его облике: тут ветка у сливы поломалась, висит, цепляет безжизненными пальцами край частокола, там утиная возня – не поделили чего-то, ругаются вон, кричат. Разогнать или нет? Ладно, пусть сами между собой разбираются.

Мишик с готовностью приветствует каждого прохожего, обстоятельно расспрашивает о здоровье, интересуется последними новостями, рассказывает свои.

– Батоно Нугзар, по телевизору показывали медицинскую передачу. Придумали, говорят, новую операцию на глаза, сложная, но толк есть. Вдруг Оганесу тоже поможет.

– Зачем мне сложная операция, что я такого в этом мире увижу, чего раньше не видел? – не давая Нугзару рта раскрыть, колюче интересуется Оганес.

– Я смотрю, ты сегодня в превосходном настроении, Оганес-кери^[27]! – отбивает пас Мишик.

– Наблюдательный как никогда! – не остается в долгу старый Оганес.

– Так с кем поведешься!

– Хэх, собакин щенок!

– Вайме, что вы за люди такие! – встречается в их шуточную перепалку Нугзар.

– Сами не налюбуетесь!

Расстаются, довольные друг другом донельзя.

По краю тротуара, пиная носом туфли камушек и напевая себе под нос, идет внучка Дидевананц Амбо.

– С работы возвращаешься, Епиме-джан? – вместо приветствия осведомляется Мишик.

– Угум, – соглашается Епиме.

– Смотри, какая красивая бабочка у тебя на плече сидит. Будь осторожна – улетит, и тебя с собой заберет.

Епиме смеется, прикрыв ладошкой рот. Мишик гладит ее по искристым волосам.

– Как там дед, поправился? Ходит уже?

– Угум.

– Хэх, Епиме-джан. Такая уже большая, а угумкаешь, как ребенок.

К хачкару ведет дорога-тропа – узкая и изломанная, словно линия жизни на ладони. По обе ее стороны высятся каменными сторожами неприступные утесы, глядят сурово и непреклонно темными глазницами гротов, позволяют пройти только тому, кто пришел с миром. В груди самой большой скалы зияет огромным провалом вырванное сердце – там Великанова пещера, пристанище тех, кто жил в оны времена. Мишик ребенком часто прибежал туда, взбирался по диковинно вогнутым каменным ступеням, стертым так, словно по ним, оставляя отпечатки своих гигантских ступней, много веков ходили перволюди. В пещере почему-то пахло горьковатым табачным дымом и свежезаваренным чаем с чабрецом. Мишик тщетно обшаривал все ее углы в поисках источника запаха, но потом привык и перестал. Он подолгу просиживал у самого входа в пещеру, свесив в пропасть ноги и задержав дыхание. «Если просидеть так триста ударов сердца и ни разу не моргнуть и не пошевелиться – великаны обязательно вернуться», – уверяла прабабушка Нубар. Он набирал побольше воздуха в легкие, прикладывал к груди ладошку, считал, беззвучно шевеля губами,

медленно выдыхал, старался не моргнуть и не шевельнуться... Провалившись, страдал угрызениями совести – не справился, не смог. Ему казалось, что где-то там, за горизонтом, плечом к плечу стоят молчаливые и забытые всеми великаны – и курят длинные чибухи^[28], ожидая того часа, когда кто-то из детей усидит на пороге пещеры положенные триста ударов сердца. Он верил, что видит за дальней линией гор кончики их подпирающих небеса колозов^[29]. Дым от длинных, выдолбленных из грушевого дерева чибухов собирался в душные облака, которые потом подолгу дождили, превращая в непроходимую топь пшеничные поля. В великанских их бородах запутался северный ветер, и, как только они принимались их расчесывать, он вырывался на свободу, и тогда наступала долгая и холодная зима. Так перед сном ему рассказывала прабабушка Нубар.

– Как же я любил ее сказки! – вздыхает Мишик, огибая подножие Великановой скалы. Последний раз он заглядывал в пещеру много лет назад, когда приводил туда сына с дочерью. Сатеник тогда восемь лет было, Мамикону – шесть. Мишик водил их по пещере, показывал все укромные уголки, пересказывал аждааковы сказки бабушки Нубар. Дети завороженно слушали, Сатеник, кажется, даже дышать перестала, смотрела во все глаза и только робко улыбалась. Мамикон шмыгал носом, вздыхал. А потом вдруг попросил:

– Чаю хочу!

– Откуда я тебе в пещере чай возьму? – удивился Мишик.

Сын пригорюнился.

– Сладким чаем пахнет.

Признаваться, что ему тоже чудится запах чая, Мишик не стал. Поглупому застеснялся – что о нем дети подумают. Потом он много раз корил себя за эту дурацкую нерешительность – сыну небось приятно было бы знать, что не только ему кажется, будто в пещере пахнет сладким чабрецовым чаем.

В тот день они до вечера сидели, свесив в пропасть ноги и высматривая кончики колозов великанов за грядой заснеженного перевала.

– Видите? – спрашивал Мишик.

– Видим, – убежденно отвечали дети – и он ничуть не сомневался, что это так.

Добравшись до старого хачкара, Аваканц Мишик первым делом здоровается с ним: барев, хачкар-джан, как ты поживаешь вдали от нас? Разворачивает подношения, оставляет в корнях растущего неподалеку старого дуба, каждый раз подробно разъясняет: «Кофе Марине, она без него не может, сухофрукты тоже ей. А вот конфеты, – он спотыкается о слова, больно обжигают небо, но потом, чуть успокоившись, продолжает: – А конфеты – Мамикону». Снимает пиджак, расстилает его слева от хачкара – ближе к сердцу камня. Сидит долго, привалившись к его прохладному плечу. Делится последними новостями. У Сатеник скоро экзамены, на врача учится. Трудно, но ей нравится. Жениха себе нашла, хороший парень, умный, правда, из деревни Мовсес. Самая граница, стреляют каждый день, но что поделаешь, где теперь не стреляют?

Рассказав все новости, Мишик притихает. Старается не тревожить вечернюю благодать грустными размышлениями, но неизменно возвращается к тому дню, когда не стало жены и сына. Вспоминает, как Мамикон играл во дворе, когда начался обстрел. Как Марина выскочила, чтобы завести его в погреб. Как следом во двор угодила бомба. Как их хоронили в одном гробу – сложили в жалкую горсточку все, что смогли собрать. Как Сатеник не спала потом много дней, а однажды надела все мамино лучшее: легкое шифоновое платье, изящные кожаные босоножки на высоком каблуке, золотые украшения – и вышла в Берд. Шла, словно канатоходец, раскинув в стороны руки – иначе не устояла бы на каблуках. Шла – и улыбалась.

Мишик собирается домой, когда небо подергивается зябкой вечерней синевой. Уходит, поклонившись хачкару и старому дубу.

– Спасибо, что хоть дочь мне оставили, иначе какой смысл жить? – не задумываясь над тем, к кому именно обращается, каждый раз благодарит он, огибая подножие Великановой скалы. Стремительно густеющее небо смыкает над ущельем прохладные ладони, мерцают звезды, каждая – чье-то разбитое сердце.

Прабабушка Нубар рассказывала, что в разбитых людских сердцах так много нерастроченной любви, что Бог потом, когда приходит время, поднимает их на небо, и они растворяют своим сиянием безутешную чернильную мглу. Сатеник часто повторяет, что когда-нибудь сердце ее отца тоже будет озарять мир. В тебе столько любви, папочка, столько в твоём разбитом сердце нерастроченной любви! Он в ответ пожимает

плечами и смущенно кхекает – ну что ты такое говоришь, дочка. Что знаю, то и говорю, упорствует Сатеник.

К тому времени, когда Аваканц Мишик оказывается у подножия Великановой горы, вездесущие сороки успевают растащить по гнездам оставленные им подношения. По прохладному боку хачкара, оставляя за собой влажный след, ползет виноградная улитка, неся на спине весь мир. Старый дуб осыпается первыми обогранными осенью листьями – по ночам уже подмораживает, до октября рукой подать. На пороге пещеры, свесив в пропасть обутые в трехи^[30] ноги и сдвинув на затылки остроконечные колозы, сидят невидимые аждааки. Дымятся длинные чибухи, остывает сладкий чай с чабрецом, но они к ним не прикасаются. Они провожают Аваканц Мишика печальными глазами и утирают свои огромные великановы слезы.

Гроза



Бабушка Сиран утверждает, что внутри у Епиме горит электрическая лампочка. Потому она всегда светится улыбкой, даже когда спит.

С бабушкой Сиран не поспоришь, она знает свою внучку лучше всех. Любое событие для Епиме повод для радости: дождь пошел – счастье, подморозило в мае – и ладно, погода тоже человек, у нее тоже настроение может быть всяким. Погода тоже человек, улыбается Епиме

и смотрит так, как умеет только она – нараспашку, всем сердцем, всей душой.

Больные ее очень любят. Только и слышно в коридоре хирургического отделения: Епиме-джан, ты где? Зайди к нам, скажем чего.

Она отставляет в сторону швабру, убирает под белоснежную косынку выбившиеся пряди волос. Ополаскивает руки, одергивает край халата. Заглядывает в палату – та мигом озаряется ее улыбкой.

– Это тебе, Епиме-джан, – протягивают ей гостинцы больные.

Она берет у каждого что-нибудь одно: печенье, яблоко, мандарин. Уходит, бережно прижимая к груди подарки.

У старого Амбо перелом лодыжки – зачем-то полез на чердак не как все нормальные люди, а через крышу. Черепица возьми и обвалилась под его тяжестью. Рухнул с высоты трех метров, чуть насмерть не убился. Кричал, пока не охрип, да кто услышит – живет он в крайнем доме Берда, дальше только река, старая часовня и пшеничное поле, окаймленное с того конца лесом. Хорошо, что бабушка Сиран заподозрила неладное – что-то давно Амбо мимо калитки не ходил, глаза не мозолил. Заглянула к нему – а он лежит среди обломков черепицы, злой, как оса, и костерит провидение до седьмого колена.

Положили его в общую палату, но потом перевели в отдельную – шума от него много, никому спать не дает: ворчит, кряхтит, гипс последними словами кроет, жалуется то на жару, то на холод, проклиная тот день и час, когда решил прибраться на чердаке: сто лет захламленным стоял и дальше бы простоял.

– Трудно было попросить Епиме помочь с уборкой? – бухтела бабушка Сиран, пока машина скорой помощи, подпрыгивая на колдобинах – как в прошлую весну река вышла из берегов и размыла дорогу, так ее в порядок и не приводили, – ехала в больницу. Амбо ответом ее не удостоил и даже голову в ее сторону не повернул. Раз ушла – нечего из себя заботливую строить! Но когда она взяла его за руку, он выдергивать ее не стал, только нахмурился – чтоб не расслаблялась. Сиран и не собиралась расслабляться: подробно проконсультировавшись с врачом, собралась и на следующий день уехала в город – за костылями. Амбо через неделю выпишут, гипс будет дома донашивать. Нужно понемногу учиться ходить.

Епиме заглядывает в палату к старому Амбо сразу после обеда, когда больные, приняв положенные таблетки, укладываются для дневного сна. Разложит на прикроватной тумбочке угощение: печенье, мандарин, яблоко. Пододвинет стул, сядет, сложит на коленях руки. Улыбнется.

Старый Амбо знает, что дальше будет, потому шумно, с претензией выдыхает. Епиме не обращает на это никакого внимания.

– Расскажи, – просит она, приглаживая всклокоченную бороду деда.

– А что рассказывать. Нога ноет, голову словно железным обручем сдавило – опять давление, заставляют таблетки пить, но кто их станет слушаться! Под гипсом жарко и чешется, хоть ногтями кожу дери, да не дотянешься!

Епиме теревит ему пальцы.

– Расскажи!

– Бессонница замучила, червецы испортили фундук, надо спасать деревья, иначе потом поздно будет. Солнце кусается, словно сквозь лупу прожигает, значит – к вечеру будет гроза. И ворона обиженно каркает, стало быть, погода испортится и гроза принесет с собой холод.

– Расскажи!

– Ты снова за свое?

Епиме чистит мандарин, протягивает ему. Старый Амбо съедает одну дольку, другую отдает ей. Они привыкли есть так: один кусочек ей, другой – ему. Печенье тоже разламывают пополам, от яблока Амбо отказывается – не любит. Епиме перекачивает его на ладони, убирает в карман.

– Расскажи.

Старый Амбо возводит глаза к потолку, протяжно вздыхает.

– Ты в кого такая упрямая?

– В тебя.

– Кхэх, ладно. Значит, так. Двадцать лет назад, в самый снежный день в году – не знаю почему, но второго февраля в Берде выпадает столько снега, что тропинку до калитки полдня очищаешь, а к вечеру, отснежив, ударяет такой мороз, что приходится всю ночь подкидывать в печку дрова – иначе окоченеешь... так, о чем это я? – потеряв нить мысли, старый Амбо растерянно умолкает.

– Двадцать лет назад... – подсказывает ему шепотом Епиме.

Он поспешно подхватывает:

– ...второго февраля родилась ты. Но радость и горе везде под руку ходят: не успели мы обрадоваться твоему рождению, как твоя мать, решив, что уже достаточно пожила, превратилась в ангела и улетела на небо.

– В ангела с крыльями?! – спрашивает-уточняет Епиме.

– А? Ну да, с крыльями. И бабушка Сиран вырастила тебя сама. В детстве ты много болела, ох, как же много ты болела! От малейшего сквозняка сляжешь – и маешься высокой температурой и кашлем неделю, а то и две.

Старый Амбо морщится – то ли от воспоминаний, то ли боль в ноге дает о себе знать.

– Нам разное говорили: что ты слабенькая, не выкарабкаешься. Что надо отдать тебя в специальный интернат, где живут такие, как ты, дети. Но мы с твоей бабушкой уперлись...

– Потому что упрямые, как я?

– Потому что упрямые, как ты. Никому тебя не отдали, оставили себе. И ты понемногу выправились, научилась говорить и даже читать-писать. Восемь лет в школе проучилась. А теперь совсем стала большая, в больнице помогаешь. Вообще не представляю, как бы они обходились без твоей помощи!

Епиме ложится рядом с дедом, кладет голову ему на плечо. Тот целует ее в пушистые волосы – у Ваана были такие же: легкие, почти невесомые, совсем не армянские. Сиран сохранила на память его младенческие локоны, думала – подрастет, мастью темнее станут. Волосы у Ваана с возрастом стали гуще, но редчайшего золотистого оттенка не растеряли. В любой толпе детишек различишь без труда – сияет, словно солнце. Он был единственным и долгожданным ребенком, счастьем и отдохновением души. Женился рано, сразу после школы – хотел, чтобы мать с отцом успели понычаться с внуками. Ушел служить в армию. Через месяц случилась война. Попал в окружение, не захотел в плен, взорвал себя гранатой. Невестка умерла при родах. Епиме родилась не такой, как другие дети. Замуж не выйти, род не продолжить. Угас Дидевананц род, угас.

Сиран ушла от него сразу после похорон невестки. Пролежала три дня с сухими глазами, потом встала – и взмолилась: отпусти. Останусь – сойду с ума от горя и тебя с ума сведу. Он ее отпустил.

Живут в разных концах одной улицы. Он – в своем доме. Она с внучкой – в своем.

Епиме по выходным обязательно заглядывает к деду. Приносит обед, что бабушка сварила, ну и полученных от больных гостинцев прихватит. Дед ест бабушкину стряпню, словно одолжение делает.

– Так и не научилась солить, – хмурится, скребя ложкой по дну тарелки.

Передает с внучкой пенсию, до последней копейки. Когда идет мимо дома бывшей жены, головы в ту сторону не поворачивает. Сиран следит за ним из-за шторы, качает головой, молчит.

Дидевананц Амбо лежит, приобняв внучку и зарывшись носом ей в волосы. Жизнь не бесконечна, они с Сиран уйдут – Епиме останется. Тогда за ней присмотрит брат покойной невестки – Алексан. Он мягкий и добрый человек, другому они свою внучку не доверили бы.

Дидевананц Епиме лежит на плече деда и думает о том, что он, наверное, Бог, потому что в мире все так, как он предрекает: если завтра твой день рождения, значит, снега выпадет столько, что полдня провозишься, пока тропинку до калитки расчистишь, а ночью несколько раз к печке встанешь, чтобы дров в огонь подкинуть. А если, например, солнце не греет, а кусается, словно сквозь лупу жжет, значит, вечером будет гроза. И вечером непременно приходит гроза.

Голод



Немецанц Алексан подолгу задерживается в погребе, любуясь плодами ежедневного своего труда: широкогорлыми карасами, содержимое которых угадывается по запаху до того, как поднял крышку, – здесь соленая капуста, там – маринованные свекла, бутень, портулак, рядом – домашний сыр, всякий: жирная брынза, малосольный чанах, волокнистый чечил, зрелый овечий – с сушеными травами. В толстопузых сосудах темного стекла переливаются тускло-янтарным мед и топленое масло. В большом ларе теснятся мешки и мешочки с

разной мукой, сухофруктами, орехами и крупами, в малом – горох, фасоль, дзавар^[31]. Потолок увешан копченьями: подернутые тонкими слоями жира окорока, круги домашней колбасы, крепко перевязанные суровой нитью рулеты огненно-жгучего подчревка. На полках теснятся баночки с заготовками: варенья, джемы, компоты, тушеное мясо, печеные и жареные овощи. Картофельная яма заполнена доверху пересыпанными речным песком отборными клубнями; морковь, свекла и капуста лежат в деревянных коробках, на стенках которых просверлены дырочки – чтобы овощи могли дышать. Свисают с крепких перекладин гроздья винограда и початки сушеной кукурузы, ждут своего часа яблоки и груши, дозревает хурма – оранжевая, сладкая, айва лоснится сливочно-желтым из-под мягкого пушка. Привалившись полосатым боком к прохладной стене, выстроились в ряд арбузы – вспоминают лето.

У Немецанц Алексана и его жены Арпеник большое хозяйство: два сада, огород, птичник, пасека в тридцать ульев, крольчатник, хлев на три коровы и восемь овец, свинарник. Пока Алексан надрывает спину на земельном участке, жена занимается домом и живностью: моет, чистит, задает корм, выпроваживает на пастбище. До вечера она крутится на кухне: печет, обжаривает, припускает, стерилизует. Заготовки – дело тяжелое и кропотливое, с одной только кавурмой столько возни: протомить мясо со специями почти сутки на крохотном огне (до полуобморочного состояния, шутит Арпеник), плотно распределить по банкам, залить горячим растопленным маслом – и сразу же, не давая остыть, закатать. Зимой такое мясо всегда выручает – и яичницу можно пожарить, и в каши-супы добавить. Алексан, когда успевает, помогает жене: то баклажаны-помидоры-перец на костре запечет, то малину с сахаром для джема перетрет, то жареную пшеницу в каменной мельнице измельчит в похиндз^[32] – Арпеник новым электрическим мельницам не доверяет и пользуется неподъемной старой, доставшейся ей от прабабушки. Она неохотно принимает помощь мужа, все отправляет прикорнуть – иди, поспи хоть немного, дай руке отдохнуть. Он послушно укладывается, но, поворочавшись с боку на бок, возвращается к ней. Она качает головой, однако ничего не говорит. Да и что тут скажешь, бессонница в их возрасте – дело обычное.

Часть заготовок они отправляют приемной дочери, малую долю оставляют себе, а бóльшую продают на фермерском базаре – в ярмарочные дни туда приезжают отовариваться горожане. Алексан с ними вежлив и терпелив – городские словно дети, во фруктах-овощах не разбираются, сальтисон от ветчины отличить не умеют. Он обстоятельно рассказывает, какие яблоки брать на сейчас, а какие – на долгое хранение, объясняет, с чем и как есть вяленья, обязательно дает попробовать, притом отрезает не прозрачными лепестками, а щедрыми ломтями. Одни клиенты слушают его с благодарностью, другие вежливо обрывают – спасибо, сами разберемся. Он не настаивает – мое дело объяснить, а вы как хотите. Иногда среди покупателей попадаются до того неприятные люди, что он диву дается, как их земля носит: смотрят свысока, хамят, берут продукты с таким видом, словно одолжение делают. К факту их существования он относится со смирением: хочешь не хочешь, а паршивая овца в любом стаде найдется, какой тогда толк возмущаться из-за того, чего не изменить?

Если спросить у Алексана, чего он боится больше всего на свете, он ответит, не раздумывая: голода. Боль можно утихомирить лекарством, холод можно спугнуть теплом, страх можно заболтать. А вот голод ничем не усмиришь и не обманешь, он будет кружить над тобой адовым мороком, измываясь и убивая в тебе все человеческое. Алексан знает голод в лицо, он жил с ним долгие, бесконечные два года, двадцать пять страшных месяцев: зиму, когда, не подозревая о том, что Берд окажется в блокаде, беззаботно подъедали заготовки, а в феврале остались совсем без припасов; весну, когда бомбили в самый сев, чтобы не давать людям работать на земле; лето, когда дым от подожженных полей пшеницы застилал небо от края и до края; осень, когда невозможно было выбраться в лес, чтобы раздобыть диких плодов; зиму, когда малыми партиями через обстреливаемый перевал стала приходиться помощь: крупы, сухое молоко, чай, яичный порошок – и хотя бы дети тогда смогли продержаться до тепла, а вот взрослые, особенно старики, уходили один за другим, проснулся с утра, бабушки уже нет, дед на ладан дышит, к вечеру и его не станет; весну, когда, махнув рукой на обстрел, люди вышли в поля, чтоб возделывать землю, возвращались не все – кого пристрелят, кого в заложники возьмут, но деваться было некуда, война или голод – все одно смерть; лето, когда град с кулак побил все, буквально все, не пострадал только картофель,

на нем и надеялись продержаться до весны; осень, когда с огородов и полей стал исчезать урожай, сначала думали друг на друга, потом обнаружилось, что это горожане – у них, оказывается, тоже голод, работать с землей они не умеют, вот и воруют у деревенских... Алексан и сердился, и жалел их: да и что скажешь против людей, которые, пересилив страх смерти, перебирались через опасный горный перевал, чтобы воровством раздобыть пропитание для своей семьи? «Страшнее голода ничего нет», – считал Алексан, и он знал, о чем говорит, потому что видел голод в лицо. Он явился ему в облике изможденного старика: ввалившиеся щеки, ниточки бескровных губ, пергаментная кожа, обтягивающая остро выступающие скулы. «Если неосторожно провести по ним пальцами, можно пораниться», – некстати подумал Алексан. Старик, словно услышав его мысли, дрогнул прозрачными веками, под которыми угадывалось движение темных зрачков, но открыть глаза не смог. Он лежал на боку, неловко вывернув шею и откинув в сторону левую руку, подбородок торчал вверх, от уголков глаз к вискам тянулись белесые дорожки высохших слез, правой рукой он подгребал к себе мерзлую землю – бесконечным бессмысленным движением, штаны сползли вниз, оголив впалый живот и дряблую воронку пупка, нога, там, где ее прихватило капканом, почернела и сочилась кровью, кость была раздроблена и превратилась в крошево. Всю дорогу, пока Алексан вез его в больницу, старик молчал, только морщился, когда машина подпрыгивала на выбоинах. Когда его загружали на каталку, он вцепился Алексану в руку, потянул к себе. Алексан наклонился, еле разобрал сквозь его прерывистое и трудное дыхание слова, побледнел, выговорил одними губами: «Назовите адрес, остальное мое дело». Старик адрес назвал.

Алексан поехал из больницы к Мушеганц Цолаку. Тот обнаружился на заднем дворе своего дома – колочил дрова. При виде гостя отложил топор, устремился навстречу, улыбаясь и протягивая руку для пожатия. Алексан собрал пальцы в кулак и ударил его в улыбающиеся губы, один раз, потом второй, увернулся от ответного удара, резко нагнулся, не глядя, нашарил полено – и, морщась от боли, остро отдающей в покалеченной левой руке, шандарахнул Цолака в живот. Тот всхлипнул, согнулся пополам, рухнул на землю. Алексан постоял немного над ним, унимая злость, сплюнул, растер плевком ботинком. Сел рядом, помог Цолаку перевернуться на спину.

– За-чем на своем у-частке медвежий капкан по-ставил? – спросил, заикаясь сквозь одышку. – Кого ты поймать хотел? Шакала?

Цолак провел пальцами по разбитой губе, приподнялся, скривился от боли, откинулся на спину.

– Какой капкан?

– А то ты не знаешь! – выпалил со злостью Алексан.

– Кто-то попался?

– Старик. Беженец.

– Раз беженец, значит, воровать можно? – Цолак сел, неожиданно резко развернулся и залепил Алексану пощечину. Тот не стал уворачиваться и отвечать не стал. Сглотнул, ощущая во рту неприятный привкус крови.

– Без ноги останется. Если вообще выживет. Правнучка в городе, больше никого. Остальные все сгинули в погроме.

Цолак встал, поднял полено, которым Алексан его ударил, кинул, не глядя, в гору колотых дров. Полено угодило в самую верхушку, зацепилось заусенцем коры за другую деревяшку, повисло в воздухе.

– А у меня, значит, не дети! – свистящим шепотом произнес он. – И половина родственников не беженцы. У меня, значит, воровать можно! Потому что я, сука, не человек! И жрать мне не полагается!

Алексан тоже поднялся, отряхнул брюки.

– Я поеду. Старика на тебя оставляю.

– Куда поедешь?

– В город, за его правнучкой. Пятый день, говорит, ничего не ела.

Ехать было долго – четыре часа по разбитой, развороченной обстрелом дороге. Алексана неприятно поразил город – он мало чем отличался от приграничья – такой же сырый, неприкаянный, погруженный в беспросветный мрак и холод. Каждый дом, каждая улица, каждое окно зияли отчаянием и одиночеством. Квартиру старика он нашел без труда: промозглая окраина, первый этаж десятиэтажного бетонного строения, все окна которого, чтобы как-то удержать скудное тепло, изнутри были увешаны пледами. У девочки оказались разные глаза: один зеленый, другой – карий. Прабабка сказала бы, что это знак дьявола – иногда он метит так людей, чтобы они не забывали о его присутствии в их жизни. Алексан протянул девочке горсть сушеного чернослива, она, поколебавшись, взяла, не забыв поблагодарить. Ела медленно, с достоинством. Дождавшись, когда она доест, Алексан велел

собирать вещи – свои и прадеда, она безропотно подчинилась, спрашивать ничего не стала. К полуночи добрались до Берда. Ехали через перевал на большой скорости, рискуя скатиться в пропасть, но другого выхода не было – включенные автомобильные фары – отличная мишень для снайперов. Слава богу, добрались без приключений.

Старика не стало той же ночью – не выдержало сердце. Алексан положил его рядом со своими родителями. Девочка беспрестанно плакала, на расспросы не отвечала, боялась темноты и закрытых дверей, кричала, оказавшись в запертой комнате, Алексан сначала не понимал причины ее страха, потом, сообразив, снял створку двери с петель – и она мгновенно успокоилась. Звали ее Анной, было ей двенадцать лет, хотя выглядела от силы на девять – маленькая, щупленькая, молчаливая. Ела мало, старалась лишней раз из дома не выходить, а если выйдет – двора не покидала. Однажды она обняла Алексана и страшным шепотом рассказала, что все у них раньше было хорошо, дед с бабушкой преподавали в бакинской школе, папа строил дома, мама растила младшего брата, и как однажды их не стало, потому что в квартиру ворвались люди и убили всех, Анну не нашли – бабушка в последнюю минуту запихнула ее под диван и велела не вылезать ни при каких обстоятельствах, а четырехлетнего внука спрятать не успела, Анна видела, как чей-то грязный ботинок подсек его, убегающего, он упал навзничь, ударился лицом, заплакал, и те же ботинки, вспрыгнув ему на спину, подсакивали с силой несколько раз, пока он не притих. Анну прадед вывез из Баку в чемодане – просверлил дырочки, чтоб она не задохнулась, и пошел по погромному городу. Перед тем как захлопнуть крышку, попросил прощения на случай, если их убьют.

– Не убили вот, – закончила она рассказ и подняла на Алексана свои дивные разноцветные глаза. – Вы не обижайтесь на него, он ученым был, ничего, кроме своей науки, не знал, здесь сторожем устроился, но зарплату задерживали, денег в долг никто нам, беженцам, не давал, за комнату надо было платить, хозяйка грозилась выгнать, я плакала, потому что очень хотелось есть, прадед терпел-терпел, потом сказал, что видеть мои слезы выше его сил, – и поехал раздобывать еду.

Если спросить у Алексана, в чем смысл человеческой жизни, он ответит, не раздумывая, – в заботе. О близких, о родных, о тех, кто остался. Из троих его сыновей войну пережил только младший. Живет теперь в далекой Америке, иногда приезжает – погостить. Зовет

родителей к себе, но они ни в какую – здесь могилы предков, здесь и нас положат. Анна давно перебралась в город, стала журналисткой, по миру ездит, статьи умные пишет. Все вроде пристроены, можно выдохнуть с облегчением, пожить наконец для себя, но есть еще Епиме, солнечная девочка, дочь умершей при родах сестры, Алексан с Арпине каждое воскресенье ходят к ней в гости – проведать, да и о себе напомнить, у Епиме память короткая, как у птички, узнает только тех, кого постоянно видит. Когда придет время – они заберут ее к себе. Жизнь имеет смысл, пока есть о ком заботиться, часто повторяет Алексан. Арпине не возражает – смысл спорить, когда все так и обстоит: жизнь имеет смысл тогда, когда есть для кого жить.

Кружева



Дербент смахивал на выцветшую медную чеканку в простенькой деревянной рамке: запутавшиеся ветвями в подоле неба, обожженные дыханием солнца деревья, каменные дома с высокими шушабандами, пыльные узелки улочек, рыжая цитадель с бесконечным числом уходящих ввысь ступеней – Анна, взбираясь по ним, попыталась сосчитать, но быстро сбилась и махнула рукой – бог с ним, с количеством, разве это главное? На полпути, чтобы перевести дыхание, она остановилась, окинула взглядом прекрасный в своей

недосказанности восточный город, зацепила краем глаза острый купол апостольской церкви, вздохнула со смешанным чувством удовлетворения и горечи – куда же без наших! Сегодня она впервые оказалась в Дербенте, которого совсем не знала, но и не остерегалась – было в нем что-то неуловимо родное и располагающее без условностей и враз. Возможно, объяснение тому крылось в отороченных низкими частоколами шумных дворах или же в лицах прохожих – в каждом можно было распознать кого-нибудь из бердских соседей, а может, дело было в плавном, не царапающем ухо многоголосии речи – если не вслушиваться, кажется, что говорят на армянском. Анна провела в Дербенте несколько часов, но уже успела распознать в нем черты Берда, она неизменно искала их в обликах всех городов, в которых бывала, и всегда безошибочно угадывала. И не имело значения, где она оказалась – в изнуренной полуденным зноем Испании, загадочном и непостижимом Китае или обдуваемой ветрами Скандинавии. Везде и всюду ее поджидала утешительная весточка от города, который стал ей родным, он давал о себе знать то обсыпающейся охряной черепицей, то стертым порогом каменного дома, то ароматом подрумяненного ломтя кисловатого хлеба: я здесь, я рядом, будто бы звал он, тебе есть куда вернуться, у тебя есть пристанище, где не нужно бояться жить!

Вот уже четырнадцать лет Анна училась не бояться жить. С того дня, как на пороге комнаты возник Алексан и протянул ей горсть сухофруктов: «Ты только ешь понемногу, иначе желудок разболится». Забирая у него драгоценное угощение, она помнила, что нужно оставить немного прадеду, намеренно жевала медленно, чтобы обмануть голод и наестся до того, как сухофрукты закончатся. Но они закончились раньше, чем она смогла насытиться.

Вдали, переливаясь бирюзово-синим, лениво перебирал волнами красавец-Каспий. Анна помнила его со времен детства, того, предпогромного, которое вычеркнула из своей жизни безвозвратно и навсегда. Но оно ей снилось – непрошено и непременно заставая врасплох, это воздушное, счастливое, радужное детство, и нещадно выжигало душу, оставляя ощущение невосполнимой горечи и утраты. Чаще всего ей снилась набережная, по которой они любили прогуливаться всей семьей, пойдём променадить, предлагала мама, и все соглашались, мама была самой громкой, смеялась звонко и безудержно – запрокидывая голову, сгибаясь пополам и всплескивая

руками, Анне это очень нравилось, потому она часто копировала ее жесты и мимику, папа катил коляску, в которой спал Гоша, его очень долго ждали, и наконец дождались, цвели каштаны, Каспий отражался в небесах, казалось – он есть продолжение небес, Анна смеялась, всплескивая, как мама, руками, и знала, что так будет всегда. Счастливые и легкие эти сны после пробуждения оборачивались непростым испытанием – приходилось какое-то время жить с ощущением сдавленности в сердце, казалось, кто-то стиснул его своими когтистыми лапами ровно настолько, чтобы оно слабо, но билось, – и не отпускал.

Полдень слепил назойливым солнечным сиянием, чирикали воробьи, у самого подножия крепости, перебивая друг друга хохотом, рассказывали какую-то смешную историю молодые люди.

Анна очнулась от мыслей и, привычно отругав себя за причиняющие боль воспоминания, от которых она так и не научилась отстраняться, продолжила карабкаться вверх по ступеням. Нужно было спешить – на сегодня она наметила еще посещение некрополя Кырхляр, где по легенде покоились сорок арабских шахидов, выстоявших в бою с сорокатысячным хазарским войском. Невзирая на свое нетерпимое отношение к воинам веры, Анна непременно хотела побывать на кладбище, которым жители города гордились и считали священным.

В некрополь она попала далеко за полдень. Солнце давно уже пересекло маковку неба и, убавляя скудное тепло, обреченно катилось к закату, воздух над городом сгустился и словно отяжелел, над Каспием, хрипло и с надрывом крича, кружила стая чаек.

Недалеко от входа на кладбище, на куцей деревянной скамье сидела древняя старуха в глухом черном платье и растоптанных туфлях и, воздев в молитвенном жесте ладони, беззвучно шевелила губами. Анна хотела пройти мимо, но заметила ее взгляд – отрешенный и незрячий, остановилась, затаила дыхание, любуясь.

Старуха отличалась той благородной красотой, которую на излете лет приобретают незлобные, открытые люди: глубокие морщины не безобразили, а украшали ее лицо, руки, покрытые рыжеватыми возрастными пятнами, напоминали два глиняных блюда, в которых подают к завтраку мед и масло, и было в ее облике столько

некричащего и безусловного достоинства, что даже разношенные туфли не портили, а скорее подчеркивали и даже дополняли эту красоту.

Закончив молиться, старуха чуть подвинулась, высвобождая место на скамейке, и похлопала по ней ладонью:

– Кызым, отур янмида. [\[33\]](#)

Услышав азербайджанскую речь, Анна внутренне сжалась, а потом оглянулась в надежде, что это не к ней обращаются. Но поблизости никого не оказалось.

– Садись рядом, дочка, – повторила старуха уже на русском.

Анна села. Вопреки ее ожиданиям, затевать разговор старуха не спешила. Несколько раз провела ладонью по груди, словно смахивая невидимые пылинки, протяжно вздохнула. Сплела узловатые пальцы в причудливый замок – Анна невольно улыбнулась забытому с детства жесту.

– И как вы поняли, что я – женщина? – чтобы прервать молчание, спросила она и сразу же пожалела – невежливо напоминать человеку о его недуге. Но старуха невозмутимо пожала плечами, не найдя в ее словах ничего оскорбительного.

– Женское дыхание глубже и медленнее, – последовало объяснение. – Мужчины же не дышат, а так, балуются. Они и к жизни относятся спустя рукава: не проживают, а прожигают.

Анна кивнула, соглашаясь, и сразу же спохватилась – ведь ее собеседница, не увидев кивка, могла посчитать ее молчание неучтивостью. Но раскрыть рта она не успела – старуха заговорила вновь.

– Ты не местная. Погостить приехала или по работе?

– Завтра в городе большой фестиваль, вы, наверное, слышали. Мне нужно сделать о нем репортаж. Я просто приехала чуть раньше, чтобы осмотреть Дербент. Потом бы не успела.

Старуха одернула подол платья, пригладила его на коленях, вытянула шею, будто кого-то высматривая.

– Белую машину не видишь? Пора внуку за мной приехать.

– Не вижу. Но я могу сама вас домой отвезти. Вы только адрес назовите, а такси я поймаю.

– Спасибо, дочка, не нужно, внук заберет. Он каждый день меня сюда привозит, а потом забирает. Я только здесь и могу молиться. Дома

не получается – шумно и суетно. А тут тихо, аж слышно, как ветер дышит.

Анна улыбнулась.

– Как вы здорово сказали – ветер дышит.

Старуха с горечью усмехнулась:

– В какой-то книге вычитала, теперь уже не вспомню названия. У нас была очень богатая библиотека. Пока глаза видели, я много читала. А лет тридцать назад как ослепла – не читаю.

Анна поймала себя на мысли, что нестерпимо хочет коснуться ее. Она даже потянулась к ней, но сразу же отдернула руку. Старуха чуть повернула голову, словно прислушиваясь к ее движениям, помолчала, сосредоточенно глядя перед собой слепыми глазами, цокнула языком.

– Спросить о чем-то хочешь?

– Хочу, – с готовностью отозвалась Анна. – Вы сказали, что много лет не видите. Если можно, если это вас не обижает, расскажите, пожалуйста, о самых ярких своих воспоминаниях. Именно тех, что мы запоминаем «картинками».

Старуха вздохнула.

– Есть вещи, которые не стираются из памяти никогда: лица родителей и детей, отчий дом, вечерний закат над Каспием и улица, которая вела к базару, – я по ней все детство проскакала туда и обратно, отец овощами торговал, а меня по мелким поручениям гонял. Помню старую мечеть с большим гнездом аиста на минарете, каждый раз, когда мулла призывал к молитве, аист вспархивал на край своего гнезда и стоял навтыжку на протяжении всей службы, словно вахту нес. Однажды улетел на юг и не вернулся, все думали – в дороге погиб, а он к июлю все-таки прилетел, слабый и больной, упал на пороге мечети и испустил дух, я будто и сейчас вижу, как мулла несет его на руках, словно бесценный груз, словно хрупкий стеклянный сосуд, и по лицу его катятся слезы непритворного, чистого горя.

Она умолкла, будто сомневаясь, стоит продолжать или нет, и все-таки продолжила, но, перед тем как это сделать, нашарила руку Анны и накрыла ее своей легкой ладонью.

– А еще я помню кружева: шелковые, невесомые, словно одуванчиковый пух. Ничего красивее в своей жизни не видела. Мне тогда лет пять было, может, даже меньше. Проснулась от неясного шума, спросонья не смогла различить, откуда он идет, но потом

сообразила, что снаружи. Выскочила в чем была во двор, высунулась в калитку – а по нашей улице идет целая толпа полуголых людей: старухи в наспех накинутых на плечи шалях, мужчины в исподнем, женщины в ночных рубашках, дети в пижамах. Вооруженный конвой гнал их с серединой части города, оттуда, где жили богатые армянские и еврейские купцы. Утро было промозглым и пасмурным, одеться им не дали, они дрожали от холода и беспомощно запахивали на груди скудные свои одеяния, чтобы хоть как-то согреться. Те из них, кто не успел обуться, стерли ступни в кровь. Взрослые, несмотря на гнетущее свое состояние – они-то точно знали, чем все закончится, – ступали молча, сосредоточенно глядя себе под ноги, только дети иногда начинали хныкать, но сразу же притихали. Воздевая ладони к небу, молились и просили о спасении старухи, и горестные их причитания были страшнее самой страшной яви. Одна из них, проходя мимо, просунула руку за пазуху, вытащила нательный крестик, трижды поцеловала его и сжала в пальцах с такой убежденностью, словно это могло что-то изменить. Я, нетерпеливо подпрыгивая в проеме калитки, ждала, когда она пройдет, потому что заприметила идущих следом двух девочек в одинаковых платьицах – высокий лиф, украшенные тончайшим узором рукава, пышные, не прикрывающие колен юбочки, расшитые по самому низу кружевами, о которых я, дитя бедной семьи, слышала, но никогда прежде не видела. Легкие и прозрачные эти кружева, подхваченные ледяным дыханием ветра, трепетали и опадали вновь, словно крылья низвергнутых ангелов, словно перья диковинных птиц, словно чистая морская пена у прибоя. Когда девочки поравнялись со мной, я, осмелев, протянула руку и потрогала подола их платьев. Кружева были цвета молочных пенек, воздушные и невесомые, расшитые серебристыми ирисами и еще какими-то лепестками, которые я не успела разглядеть. Наверное, не найдется таких слов, которые помогли бы мне передать то состояние глубочайшего горя, которое постигло меня в ту самую минуту, когда я с не свойственной моему возрасту пронизательностью поняла, что красота этих кружев не имеет ко мне никакого отношения! Они словно были теми инейными завитушками на озябшем стекле шушабанда, которыми можно было любоваться, но нельзя было заполучить. Все, что я испытала в ту минуту, – это чувство безутешного сиротства, которое овладевает каждым, перед кем на короткий миг распахиваются ворота в мир

волшебства, но лишь затем, чтобы захлопнуться сразу и навсегда. Обезволенная этим откровением, я пошла, словно сомнамбула, между девочками, не выпуская подолов их платиц. Они не удивились и не сделали попытки освободиться, только смотрели на меня бездонными глазами, лица их были бледны, губы посинели от холода, у той, что была младше, глаза оказались разными – один зеленый, другой карий, моя мать бы сказала, что это знак иблиса – иногда он метит таким образом людей, чтобы те не забывали о постоянном его присутствии в человеческой жизни. Я бы так и шла между девочками, но вдруг кто-то из идущих следом мужчин грубо подхватил меня и затолкал в калитку, выпалив до того, как я успела зареветь от страха и обиды: «Не высовывайся, иначе тебя за нашу примут!» Он ведь спас мне жизнь, тот мужчина, я ведь выскочила из дому полуодетой, и конвой, заметив меня, погнал бы со всеми. И со мной поступили бы ровно так, как поступили с толпой этих несчастных людей: расстреляли бы и бросили в Каспий, на съедение рыбам. Были люди – и не стало их. Растворились, словно струйка кизячного дыма в холодном ноябрьском воздухе.

Анна охнула. Ладонь старухи, лежащая на ее руке, превратилась в каменную глыбу, расплющила и придавила ее к земле.

– Дербентцы потом растащили их осиротелое имущество, – продолжила после минутного молчания старуха, – мой же отец привез оттуда телегу книг – единственное, что не посчитал воровством. На этих книгах мы и выросли – я, три мои сестры, пятеро братьев, большая дружная семья, гордость города, спроси у кого хочешь о Мамедовой Асият и ее родне, плохого слова о нас не услышишь.

– Вы ведь догадались, что я армянка, – шепнула Анна.

Старуха погладила ее по руке.

– Как-то так, дочка.

На Кырхляре Анна так и не побывала. Просидела со старухой до того времени, пока ее не забрал внук. Наблюдала, как тот почтительно ведет бабушку к машине, как бережно усаживает на сиденье и укутывает пледом ноги. От предложения подвезти до гостиницы Анна отказалась. Когда машина тронулась с места, старуха повернула к ней голову и сделала странный жест рукой – словно придавила тяжесть. Анна почувствовала, как ослабевают сковывающие сердце тиски, но чего было в этом ощущении больше – боли или облегчения, она не

смогла бы объяснить. Когда в вечерних новостях передавали сюжет из Баку, она впервые не стала переключать канал и молча наблюдала, как глава страны в окружении иностранных гостей возлагает венки на аллее шахидов – месте скорби города. На этой аллее были похоронены расстрелянные советскими солдатами погромщики, которых власти потом, обеляя позорное прошлое своей страны, возвели в ранг воинов веры. Анна всматривалась в хмурые лица мужчин на могильных плитах и гадала, кому из них принадлежали ботинки, которые прыгали на спине ее брата. А еще она думала о том, что Гоша был совсем ребенком, мало что понимал, но он видел, как бабушка спрятала ее под диван, он ведь мог юркнуть к ней, когда в дом ворвались чужие люди, он всегда так поступал, когда ему было страшно, – летел к Анне и прятался за ее спину, но в тот день он этого делать не стал, в тот день он пробежал мимо, потому что не захотел выдавать ее тем, кто пришел убивать.

Стадо



Ноябрьское утро сновало прилежной хозяйкой по округе, приводя все в безупречный – не придерешься – порядок. Притушив последние звезды, протерев мягкой тряпицей небосвод и с удовлетворением убедившись, что наверху все готово для встречи солнца, оно сразу же взялось за долину: пригладило встрепанные ночным ветром верхушки деревьев, разбудило горные реки и щедро сбрызнуло росой дороги, утихомиривая потревоженную пыль. Ноябрьское утро – прохладное и ясное – торопливо хлопотало, подготавливая мир к погожему и

благостному новому дню. К тому времени, когда, окинув довольным взглядом наведенную красоту, оно наконец-то уgomонилось и прилегло под стеной каменной часовни, чтобы немного вздремнуть перед наступлением восхода, Капитонанц Мануш открыла глаза. Наспех прочитав короткую молитву и выпив на пустой желудок стакан мятной воды – от дурного настроения и желчи, которая, по ее непоколебимому убеждению, растекалась за ночь по нутру, чтобы к пробуждению выедасть его с удвоенным рвением, – она, обвязав голову ситцевым платком и накинув на плечи клетчатую шерстяную шаль (темно-серое на мерклом синем), направилась к выходу, с превеликой осторожностью ступая по скрипучим дощатым полам – чтоб не разбудить спящего после ночной смены сына. Спустя несколько минут, сводя на нет всю предосторожность, ее колючий, с прокуренной хрипотцой голос, прокатившись от одного края двора до другого, намного раньше грузовика Мураданц Андро поднял сына на ноги:

– Чтоб глаза твои ослепли и не видели больше солнечного света! – самозабвенно надрывалась Мануш. – Чтоб шерсть с тебя слезала клочьями, а рога стали такими длинными, что ты ими всюду застревала – и не могла выпутаться! Чтоб язык твой порос колючками, а вымя покрылось ядовитыми грибами! Чтоб...

– Ай мер^[34]! – с шумом распахнув створку шушабанда, перекричал мать Цолак.

– Аджан!^[35] – мигом сменив гневливый тон на ласковый, отозвалась Мануш.

Цолак высунулся в окно, вдохнул не успевший отойти от ночного холодка тугой утренний воздух. С яблоневого ветки, стряхнув последние рыжие листья, взмыл большой круглоголовый воробей. Выписав круг над садом, он вернулся, уселся на ту же ветку, с которой вспорхнул, – и с укоризной уставился на заспанного Цолака.

– Ишь, – подавил зевок тот, – голос моей матери, значит, тебя не напугал, а мой – напугал!

Воробей еще раз недоуменно чирикнул, перепрыгнул с одной ветки на другую и скрылся из виду. Цолак нашарил на подоконнике спички, вытянул, не глядя, из пачки сигарету, помял ее в пальцах, подставил ладонь под крупинки высыпающегося табака, вытряхнул их в сад. Затянулся дымом, сухо закашлявшись на первом же вдохе.

– Поел бы хоть сначала, – раздался снизу скрипучий голос матери.

Цолак облокотился на подоконник, глянул вниз. Мануш стояла, прижав к груди стеклянную банку с молоком, смотрела с обожанием на сына.

– Шумела-то чего? – спросил, откашлявшись.

– Коза вывела из себя. Мало того, что молока две капли дает, так еще норовит боднуть или подойник опрокинуть!

– Я бы тоже бодался, если бы меня проклятиями обкладывали!

Мать хихикнула, прикрыв смуглой ладонью рот. У Цолака заныло сердце – он с детства знал и любил этот ее стыдливый жест, она никогда не смеялась открыто, считая подобное проявлением дурного воспитания. Впрочем, такая щепетильность не мешала ей быть шумной и вздорной, она могла раздражаться целыми очередями оглушительных проклятий в адрес бестолковой козы, дающей скудное молоко, или кота, нагло объедающего дворового пса – тот пока ушами хлопал, кот тырил из его миски мясо, главное, не ел, а, порядком извозюкав в грязи, прятал по углам, или кур, несущихся в пику своей хозяйке не в курятнике, а в огороде – ищи потом по грядкам, где эти дурехи припрятали яйца! Мать вообще не церемонилась с животными, могла прикрикнуть или пнуть – не больно, но обидно. Цолак редко одергивал ее, памятуя о ее крепком крестьянском нраве – у таких людей свое представление о справедливости и морали, там, где городской соломки подстелет и три раза перекрестится, чтобы пройти, они, не щадя себя, напролом попрут, а застав незнакомого человека в беде, из кожи вон вылезут, чтобы помочь. Зато, обладая незамысловатым и приземленным душевным устройством, к животным никакой жалости или сочувствия испытывать не станут. Вот и Мануш не особо церемонилась, относясь к ним как к существам рангом ниже, и потому бесправным. Цолак иногда мягко упрекал ее, взывая к жалости, но она с возмущением обрывала его:

– Какая может быть жалость к овце? Человек заводит ее для того, чтобы съесть. Так что любой разговор о жалости к животному – от лукавого.

– Слышал бы тебя сейчас отец!

Мать пожимала плечами: где твой отец-то? Где твой отец?!

Плакала потом украдкой, утирая слезы краем косынки. Цолак обнимал ее, винился – лав^[36], ай мер, лав, не обижайся. Она не обижалась.

Единственным существом, с кем у матери сложились уважительные отношения, была сова, с завидным постоянством переживавшая непогоду на чердаке их дома. Однажды, возникнув словно ниоткуда, она влетела в узкое чердачное окно, стукнулась плечом о край рамы, кувыркнулась в воздухе, но чудом удержалась, не свалилась на пол. Долетев до крайней потолочной балки, рухнула на нее, горько ухнула, будто на боль пожаловалась. Мануш, отложив в сторону смоченную в уксусном растворе тряпку, которой усердно протирала стену чердака – от плесени, – сбегала на кухню, порылась в оставшихся от покойного мужа старых, пришедших в негодность лекарствах, нашла фурацилин, растворила таблетку в стакане воды – на случай, если нужно будет обрабатывать рану. Поразмыслив, добавила вторую таблетку – все равно выдохлась, от двух хоть какой-то толк будет. Отрезала ломтик сырого мяса, поднялась наверх, оставила его на другом краю потолочной балки, сама затаилась за сундуком. Когда сова, ступая неуклюжим приставным шагом, подобралась к мясу, Мануш незаметно выбралась из укрытия, накинула на нее платок, сгребла в объятия. Быстро ощупав и удостоверившись, что все в порядке, выпустила птицу, но перед тем, как это сделать, снова спряталась за сундук – важно было, чтобы сова не догадалась, кто ее схватил. Сова вспорхнула на балку, возмущенно покрутила головой, выискивая обидчика, и, не найдя никого, снова притихла. Дождавшись, когда гроза уймется, улетела, так и не притронувшись к мясу. С того дня она часто прилетала – пережить непогоду. Мануш, заметив потемневший подол неба, спешно поднималась на чердак, распахивала обе створки окна и оставляла на видном месте угощение – сырые куриные потроха или горсточку фарша. Сова улетала сразу после того, как погода утихомиривалась, к угощению притрагивалась редко, чем, наверное, и подкупала Мануш – превыше всех человеческих, да и звериных качеств она ценила чувство собственного достоинства. Судя по ее нецеремонному обращению с другими животными, единственным существом, у кого она это самоуважение заметила, была сова.

Цолак знал и любил мать разной: шумной, молчаливой, склочной, заплаканной, смешливой, мелочной, щедрой. С возрастом отрицательные ее качества постепенно загоразивали положительные, она цепенела душой и стала равнодушна ко всему – к миру, к людям, к жизни. Только с детьми и внуками по-прежнему была ласкова,

испытывая к ним чувство безграничной привязанности и нежности. Они отвечали ей тем же.

Ежась от холода, Цолак облился ледяной водой, растерся досуха полотенцем, с удовлетворением ощущая, как благодное тепло распространяется по телу. Натянул свежую рубашку, вытащил из обувного ящика кожаные ботинки, которые берег и носил крайне редко, по особым случаям. Предупредил мать, что скоро выходить. Она хотела было спросить, куда он собрался, но сразу же вспомнила и поспешно задвигалась по кухне, накрывая стол к завтраку. Сегодня была годовщина смерти старика-беженца, прадеда приемной дочери Алексана. Когда он умер, Цолак настаивал на том, чтобы самому оплатить похороны, но Алексан не согласился. Заплатили вскладчину, строго следя, чтобы расходы распределились поровну. Наведывались на могилу тоже вместе – каждую годовщину. О потасовке, случившейся много лет назад, не вспоминали, да и чего вспоминать – была и прошла. «Жизнь слишком коротка, чтобы помнить обиды, отсекай лишнее и живи, не оглядываясь», – часто вспоминал слова отца Цолак. Он старался всегда следовать им.

Отец был удивительным человеком – добрым, мягким, отзывчивым. Животные, чувствуя это, давались ему на лечение безбоязненно. Люди шутили, что Мушеганц Арамаис врачует колдовством, иначе как объяснить, что у других ветеринаров животные долго не поправляются, а у него, хоть он и пользуется теми же лекарствами, на второй день уже здоровы. «Сердцем надо лечить, какой толк от рук, если не любишь дело, которым занимаешься?» – не уставал объяснять отец.

Пока Цолак завтракал, подбирая горбушкой остатки глазуньи, мать сидела напротив и курила, стряхивая пепел в треснувшее старое блюдо.

– Поела бы сначала, – ее же словами упрекнул ее Цолак. Она рассеянно улыбнулась, махнула рукой – потом.

Проводив сына, она поднялась на чердак, чтобы видеть, как он идет, прихрамывая, задирая плечо и беспомощно отводя в сторону локоть каждый раз, когда наступает на покалеченную ногу. Старое драповое пальто, обтертое на рукавах и вороте, беспомощно болталось на нем, собираясь складками на плечах, путалось полами в коленях,

мешало ступать. Мануш горько вздохнула, вспомнив, что когда-то оно с трудом на нем сходилось.

Из чердачного окна Берд был как на ладони. Через три дома двор Алексана, скоро Цолак подойдет к калитке, позовет его, тот сразу же откликнется, и дальше они пойдут вместе – Алексан станет что-то рассказывать, размахивая здоровой правой рукой, левую, слабо действующую, по привычке будет прижимать к боку, а Цолак, соглашаясь с ним, будет мелко кивать и ступать, прихрамывая и задирая плечо. Они пройдут вдоль забора Азинанц Тиграна, старшая его дочь, Агапи, уже сидит под облетевшим тутовым деревом, ждет вечера, чтобы выйти на свою неизменную прогулку; Алексан с Цолаком остановятся, чтобы поздороваются с ней через частокол, она не ответит, но улыбнется им своей ясной улыбкой, и они продолжат путь, ублаженные тем, что этот мир еще не совсем безнадежен, если его согревает улыбкой старшая дочь Азинанц Тиграна.

Дойдя до развилки, они постоят немного, взглядываясь в голубые вершины дальнего перевала, потом повернут направо и уйдут вверх, в сторону кладбища. В ожидании их возвращения Мануш будет вспоминать, как по той же дороге промозглым февральским утром уходило в даль исхудалое стадо. В блокаду, когда животным совсем нечего стало есть, отчаявшиеся хозяева привели их к покойному мужу – не закалывать же, Арамаис-джан, уж ты-то что-нибудь придумаешь, может, хоть какими-то лекарствами поможешь им продержаться до весны. «Какими лекарствами?» – беспомощно развел руками муж. Мануш тогда плакала и молила его не уводить стадо через обстреливаемую дорогу в соседний район, к молоканам, которые, возможно, смогли бы его прокормить, но муж не уступил ее мольбам – поведу, и все, не станут ведь меня убивать, видят же, что безоружный и животных перегоняю! Цолак пошел тогда с отцом, хоть тот ругался и противился, но не отпускать же было его одного! В тот день Мануш стояла, вцепившись в раму чердачного окна озябшими пальцами, и безотрывно смотрела, как стадо, сопровождаемое двумя пастушьими собаками, уходило к перевалу. Она видела, как внезапно начался обстрел, как первым, скошенный пулей, упал сын, а следом за ним и муж, как животные почему-то не стали разбегаться, а обступили тела мужчин и смиренно ждали, когда их убьют, и их убили – до последней горестно мычащей коровы и жалобно плачущей овцы. Мануш

простояла у чердачного окна до рассвета, вглядываясь воспаленными от слез глазами в ледяную ночь, и только к рассвету, различив сквозь проясняющуюся тьму, что тела мужа и сына исчезли, выдохнула с облегчением. Значит, они живы и сумели отползти в безопасное место, понадеялась она. Но добраться до них не было никакой возможности – убитое животное тоже пригодно в пищу, потому подступы к тому месту, где лежало поваленное стадо, непрерывно обстреливали. Утром выглянуло не по-зимнему жаркое, горячее солнце, растопило снег, подернуло перевал влажной, душной хмарью, и только к вечеру следующего дня вернулся мороз, загустил влагу в непроглядный туман, закрыв полностью обзор и наконец-то утомив стрельбу. Туман дал возможность крохотному отряду Алекса выбратья туда. Когда Цолака доставили в больницу, руки его были черны от земли, ногти обломались и истекали кровью, раздробленная вспухшая нога еле держалась на нескольких клочках сухожилий и мышц. В беспамятном бреду он непрерывно рассказывал, как оттаскивал в овраг тело отца, как ждал помощи и, понимая, что ее не будет, рыл ему могилу, но мерзлая земля не поддавалась, потому он только и смог, что присыпать ему лицо и грудь, а вот ноги так и остались непогребенными, как бы их не обглодали шакалы, бредил он и порывался вернуться, чтобы дохоронить отца.

Много позже, придя уже в себя, он ничего больше не рассказывал, молчал и маялся от бессонницы – разучился спать. К мясу никогда больше не притрагивался – навсегда запомнил зловоние, исходившее от гниющего под необъяснимо жарким зимним солнцем мертвого стада.

Дождавшись, когда Алексан с Цолаком появятся на развилке дорог, Мануш, охая от боли в ноющих суставах, спешила по чердачной лестнице вниз – заниматься домашними делами. Цолак так и не признался другу, что капкан на участке поставил не он, и матери запретил говорить об этом – я мужчина, мне и отвечать. Мануш поплакала, но смирилась, если сыну угодно на этом свете держать за нее ответ, то и пусть, все одно на том свете делать это ей.

«Жизнь слишком коротка, чтобы помнить обиды, – любил повторять покойный муж. – Отсекай лишнее и живи, не оглядываясь». Цолак так и делал, а вот она не смогла. Не захотела. Цепенела душой, черствела сердцем. Не простила мужу того, что он, не послушавшись ее, ушел на добровольную смерть. «Разве твое глупое безрассудство

стоило моего одиночества и слез?» – спрашивала Мануш, перебирая в памяти невыносимые годы, когда без помощи Цолака, тяжело и долго возвращавшегося к жизни, она вынуждена была одна поднимать младших детей. «Разве это стоило здоровья нашего сына?» – терзалась она вопросом, ответ на который ей так и не суждено было получить.

Прогулка



Азинанц Агапи собиралась на прогулку ближе к вечеру. Шла вниз по пологой, вымощенной мелкой брусчаткой улице до самого ее конца, а потом поворачивала направо – к роднику. Там она не останавливалась – на обратном пути напьется.

Проходила мимо мелких лавочек и мастерских, заглядывая в каждую. Зеленщик неловко перебирал скоропортящуюся кинзу и водяной салат, бакалейщик отсыпал в бумажные кульки изюм и орехи. У портного стрекотала швейная машинка и пахло раскаленным утюгом. В обувной мастерской, стыдливо подобрал под себя ногу в простом

чулке, сидела пожилая женщина в темном платке – сапожник чинил ей ботинок.

Визит Агапи никого не оставлял равнодушным.

– Барев, Агапи-джан, – здоровался зеленщик.

– Пусть Хисус-Кристос будет твоим защитником, Агапи-джан, – говорил бакалейщик.

– Как ты себя чувствуешь, Агапи-джан? – осведомлялся портной.

– Все будет хорошо, Агапи-джан, – напутствовал сапожник.

Пожилая женщина качала головой и вздыхала. Агапи улыбалась ей и шла дальше. Мимо каменных домов, мимо кривеньких заборов, мимо брехливых дворовых псов, мимо осенних порожних садов – соберут айву и последнюю подмороженную хурму – и спать деревьям до весны.

Путь ее заканчивался у каменного моста. Она облокачивалась о старые перила, прислушивалась к голосу реки. Теперь он хриплый, мерклый – слов не разобрать. Слева – старое кладбище, справа – узкая тропа, ведущая вверх, к лысой макушке Хали-кара. Маленькой девочкой она карабкалась туда каждый день – Агаааапи, звала мать, будь осторожна, не подходи к обрыву. Не подойду, обещала Агапи и стояла потом на самом его краю – слушала голос реки. Тогда он был сильный и ясный, каждое слово – будто целая песня.

– Девочке не пристало убегать так далеко от дома, – отчитывала ее мать. Агапи обещала никогда больше не убегать – и сбегала.

У нее было ангельское лицо – большие прозрачные глаза, пушистые ресницы, тяжелые волнистые волосы.

– Вырастет красавицей, – говорили соседи.

– Главное, чтобы счастливой, – возражала мать.

Агапи знала о счастье все, что положено знать семилетней девочке: любящие родители, вкусная еда, теплая постель. Младшие брат и сестра, собака Вилка. Единственное, чего она не знала – почему незрелые яблоки намного вкуснее зрелых. И почему взрослые запрещают есть их кислыми, заставляя ждать, пока они поспеют до скучной сладости. Она не любила ждать, потому обрывала яблони и взбиралась на макушку Хали-кара – слушать реку.

Ее семья была одной из тех, кого война обошла стороной – ни разрушенного дома, ни погибших мужчин, ни уведенных в плен и сгинувших женщин. Держались друг друга, помогали соседям, ходили в часовню – мать зажигала свечи, благодарила Бога: Аствац-джан, не

посчитай чрезмерным то, что нам повезло больше, чем другим. Пока она молилась, Агапи и ее младшая сестра, привстав на цыпочки, изучали портрет Богоматери.

– Чего это она такая грустная? – спрашивала шепотом сестра.

– Обидели, наверное, – отвечала Агапи.

Мать шикала на них и продолжала благодарить – Аствац-джан, Аствац-джан. Агапи возводила глаза к окошку часовни, откуда падала на неровный пол узкая полоса света. В солнечный день в ней роились невесомые пылинки, в пасмурный – парили печальные тени.

Война началась, когда ей было восемь, немного приутихла, когда исполнилось тринадцать. Родные несмело радовались – пронесло, пронесло. Спустя год от тяжелой болезни крови умерли обе тети. Следом от той же напасти ушла мать. А однажды Агапи, переступив порог другой реальности, больше не возвращалась. Остались младшие брат и сестра, одряхлевшая собака Вилка и разом поседевший и постаревший отец. В семье Агапи никогда не говорят о войне, может, потому, что знают о ней всё. Что она имеет обыкновение начинаться, но не заканчивается никогда. Что сначала она разрушает дома и забирает мужчин, а потом, когда утихает, напускает неизлечимые болезни на женщин. Следом, вдоволь поглумившись над взрослыми, она уводит в потусторонье тех молодых, которые не справились со страхом. Война каждого помечает своим клеймом и никому не дает спастись.

Азинанц Агапи возвращается с прогулки поздним вечером. Переходя от одного уличного фонаря к другому, ненадолго замирает в световом круге. В лунные ночи там роятся невесомые пылинки, в туманные парят печальные тени.

Она ничего не помнит и никого не узнает. Смысл ее существования – ежедневные прогулки: вниз по покато́й улице, мимо крохотных мастерских и лавок, к старому мосту. Стоять, облокотившись о перила, слушать реку. На обратном пути обязательно напиться родниковой воды. И ждать весны, когда снова будут кислые незрелые яблоки. Теперь Агапи знает, почему они вкуснее спелых, но не умеет объяснить.

Ботинки



– Сильно натирает? – Макаранц Колик вытянул шею, чтобы рассмотреть ступню Нунуфар, но сразу же, спохватившись, отвел взгляд, мысленно отругав себя за бесцеремонность. Нунуфар подобрала под себя ногу, поморщилась, ощутив, как заусенец грубо отшлифованной ножки табурета поддел чулок. Она провела по зацепке пальцем – вроде не порвался. Был бы нейлоновый, сразу же пустил бы стрелку, а хлопчатобумажный не должен. Ну а если даже и порвался – она заштопает так, что чулок от целого не отличишь.

– Давай покажу. – Она отобрала у сапожника ботинок, продемонстрировала то место, где было основание молнии: – Вот здесь

сильно давит и натирает. С диабетом, сам знаешь, любая ранка – мучение и морока.

Колик, кивнув, сразу же взялся за дело. Пока он, низко склонившись над ботинком и поминутно откашливаясь, выпарывал молнию, Нунуфар сидела, сложив на коленях руки, и рассматривала бедную обстановку мастерской: пыльные, заваленные починенной или ждущей ремонта обувью полки, слипшиеся кисточки для клея, баночки со всяким бог весть какого предназначения содержимым, нитки, разнообразные шила и ножи, щетки, подсохшую и покрывшуюся трещинками ваку в допотопных жестяных коробочках.

Со стены на нее смотрел выцветший плакат с очередным бестолковым кандидатом в президенты – сколько их было на ее веку – и не сосчитать, каждый, словно на спор, бессовестнее и вороватее предыдущего. Нунуфар прочитала корявое название партии, которую кандидат представлял («Более благополучная республика»), с минуту разглядывала его тяжелую квадратную челюсть и мелкие мушиные глазки. «Бессовестная твоя рожа!» – подумала она и с претензией обратилась к Колику:

– Зачем этого остолопа на стену повесил?

Тот проследил за ее взглядом, хмыкнул:

– Трещину прикрывает. Хоть какой от него толк.

– У меня дома гипс есть. Принесу, заделаешь трещину. А этого убери, много чести.

Колик покладисто сдернул со стены плакат, смял его, кинул под дровяную печку – на растопку. Нунуфар наблюдала за его действиями с чувством нескрываемого удовлетворения. Когда ком мятой бумаги, угодив в полено, отлетел в сторону, она не поленилась подняться и, осторожно ступая на необутую пятку, добралась до него, чтобы снова кинуть под печку. Колик этого не видел – вознамерившись покурить, вышел за порог мастерской.

– Кашляешь, а дымишь, – шумно втянув ноздрями воздух и скривившись так, будто сигаретный дым успел проникнуть в ее легкие, не преминула ржаво прокомментировать Нунуфар.

– Имею право. Поди не маленький, пятьдесят лет! – сделал слабую попытку оправдаться сапожник.

– А меня это волнует?

Колик неуверенно потоптался на месте, не решаясь возразить Нунуфар (почтение к старшим – превыше всего), и все-таки смолчал. Из соседней мастерской выглянул портной, не спрашивая, вытянул из его пачки сигарету. Колик чиркнул спичкой, давая ему прикурить.

– И-их, хоть бы у тебя совесть проснулась, Арто! – подала голос Нунуфар.

Портной – полноватый широкоплечий великан с неожиданно детским, и оттого кажущимся беспомощным, выражением ярко-голубых глаз – кхекнул и развел руками:

– Откуда у меня совесть, Нунуфар-мокир^[37]!

– А что, когда Бог совесть раздавал, тебя намеренно обошел?

– Твоя правда, намеренно обошел. Зато потом, застыдившись, двойной порцией красоты наградил, – с невозмутимым видом парировал Арто, славящийся на весь Берд своей неоспоримой и даже сокрушающей некрасивостью.

– Вполне себе симпатичный, малость кривоватый и рябой, но с кем не бывает! – великодушно отозвалась Нунуфар и, сочтя свои доводы недостаточно убедительными, добавила: – Зато никто тебя не сглазит – уродство плохой глаз не берет.

– Вах, мама-джан, – прыснул Колик. Привлеченный его смехом, из ателье выглянул юный помощник портного, но, застеснявшись, снова скрылся.

– Нунуфар-мокир, тебе надо было министром иностранных дел работать, – пошутил Арто.

– С тобой наша дырявая дипломатия вышла бы на небывалый уровень! – добавил Колик.

Нунуфар окинула их осуждающим взглядом, хмыкнула.

– Издеваются еще, балбесы.

И, не удержавшись, тоже расплылась в улыбке.

Докурив, Колик вернулся к работе. Орудовал иглой, качая головой и добродушно похохатывая. Нунуфар сидела, сложив на коленях руки и поджав губы в тонкую ниточку. На каждую смешинку сапожника лицо ее озарялось мимолетной улыбкой, но сразу же угасало. В профиль она смахивала на большую ворону: смуглая, горбоносая, с пытливым живым взглядом угольных глаз. Под плотно повязанной косынкой угадывались очертания тяжелого узла волос – вот уже сорок лет, как Вайинанц Нунуфар не стриглась. Однажды она покрыла голову

косынкой, и никто ее простоволосой больше не видел. Поговаривали, что на протяжении всех этих лет она не мыла головы, но на правду это было мало похоже – уж запах невымытых почти полвека волос отличался бы от того, чем пахла Нунуфар, а пахла она простым мылом, сухофруктами и закваской для теста, то есть всем тем, чем пахнут обычные бердские бабушки.

Сорок лет назад, поднакопив денег, Нунуфар отправила старшего сына в город – учиться на зубного техника, тем самым сдержав слово, данное умирающему мужу, свято верившему в силу и важность столичного образования. Младшие, шестилетние близнецы, остались на ее попечении. Дурная весть застала ее на работе. Она как раз собиралась уходить, когда зазвонил телефон, и телеграфистка срывающимся от ужаса голосом прочла телеграмму, где сообщалось, что днем раньше случилась чудовищная трагедия – в городское озеро упал троллейбус, погибло много людей. И среди них был ее Вачаган.

Нунуфар не очень представляла, что такое троллейбус. Когда добралась до города, первым делом попросила показать его. Не могла взять в толк, как такая большая и крепкая машина умудрилась свалиться в озеро. «Разве эти штуки, которыми его привязывают к проводам, не должны были его удержать?» – спросила она у молодого врача, который, намеренно не поднимая глаз – до того ему страшно было встретиться с ней взглядом, – выписывал справку о смерти Вачагана. Врач возражать не стал, только повел неясно плечом – всякое бывает. Выдав справку, измерил ей давление, положил с собой таблетки, проследил, чтобы она выпила сразу две. Нунуфар на прощание коснулась его руки – спасибо, сынок. Вачагана ей выдали спустя неделю, в запаянном тяжеленном гробу, на уровне лица было маленькое окошко, она попыталась сквозь мутное стекло разглядеть сына, но потерпела неудачу. На похоронах она не плакала – не смогла заставить себя поверить, что в гробу лежит ее Вачаган. На сороковой день в дом постучалась незнакомая женщина, от предложения пройти хотя бы в прихожую отказалась, стоя на пороге и переминаясь с ноги на ногу, она рассказала, как вчера ночью ей приснились двое мужчин, один был совсем молодой, лет семнадцати, почти ребенок, другой постарше, с седыми висками и лучиками морщин вокруг глаз, он и попросил ее поехать в далекий Берд и передать Вайинанц Нунуфар, чтоб она не беспокоилась за них, живут они в просторном светлом

доме, окна которого, как она всегда мечтала, выходят на закат, так что утром им не жарко завтракать, а вечером можно ужинать, любуясь мерцающим подолом неба, наспех накинутым на синие горы, – такими диковинными словами он и сказал, удивленно покачала головой женщина, а потом добавила: – еще он просил передать, чтобы Нунуфар не обижалась на него за то, что он так рано умер, и чтоб берегла младших сыновей, потому что за них беспокойно на душе. Рассказав свой сон, женщина распрощалась и сразу же ушла, отказавшись даже от чашечки кофе – боялась пропустить междугородный автобус. Нунуфар собрала узелок с едой, добежала, задыхаясь, до вокзала, успела передать его в окно, а когда автобус скрылся из виду, сообразила, что так и не узнала ни имени женщины, ни ее адреса. Вернувшись домой, она проплакала несколько дней и, наконец-то поверив в гибель сына и смирившись с ней, обвязала голову черным платком.

Над близнецами, помня о предупреждении покойного мужа, она тряслась всю жизнь, в город их не отпустила – лучше пусть в местном училище на электротехников выучатся и провода ремонтируют, чем будут жить вдали от нее. Война случилась, когда сыновьям исполнилось по двадцать лет. Оба, недавно отслужив, вернулись из армии, оба сразу же засобирались добровольцами на фронт. Нунуфар выплакала все глаза, упрашивая не делать этого – ведь воевать пока есть кому, почему именно они? Но сыновья были непоколебимы – если не мы, то кто?! Тогда, в порыве нестерпимого отчаяния и боли, она взмолилась – не уходите хотя бы оба, пусть один из вас останется со мной! И кто-то из близнецов – она потом так и не могла вспомнить кто именно, ответил ей с холодной яростью молодого безрассудного сердца: вот и выбери сама того, кто должен остаться!

Так Вайинанц Нунуфар и не сберегла сыновей.

– Нунуфар-мокир, примерь, вроде не должен натирать, – протянул ей ботинок Колик.

Застигнутая врасплох, она не сразу очнулась от привычного потока мыслей и несколько секунд недоуменно разглядывала ботинок, не понимая, что с ним делать, но потом спохватилась, забрала его, повертела в руках, рассматривая невидимый шов. Поднялась, прошлась по мастерской, ступая на босую ступню, постояла над деревянной печкой. Резко нагнулась, открыла заслонку, кинула в огонь смятый плакат, не преминув едко прокомментировать – все они на одно бессовестное

лицо! Понаблюдала, как плакат догорает, исходя неопрятным кисловатым чадом. Хмыкнула.

– Даже сгнуть толком не умеют!

Колик почесал в затылке:

– Сильно ты их не любишь!

– А за что любить? Разве мы оплакивали бы своих детей, управляй этой несчастной страной приличные люди?

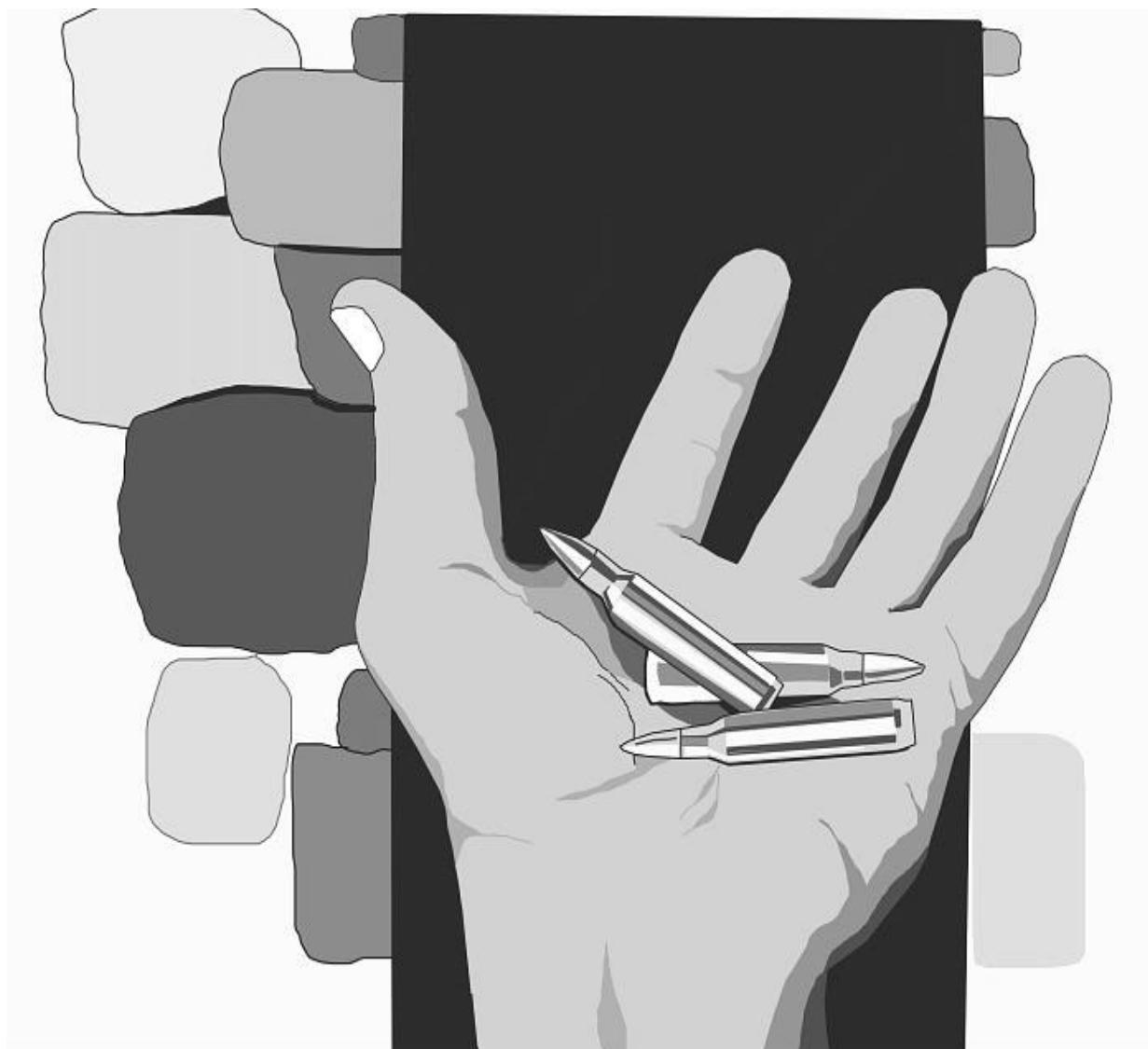
Колик мелко закивал, соглашаясь. От предложенных денег с возмущением отказался. Нунофар обещала в благодарность передать гату. Обулась, стыдливо повернувшись к нему спиной. Коснулась на прощание руки – спасибо, сынок.

– Ботинок-то хоть не натирает? – крикнул Колик ей вслед, высунувшись из мастерской.

Она обернулась, махнула рукой.

– Не беспокойся, цавд танем. Не натирает.

Выбор



– Когда Бог обделяет человека одним качеством, то обязательно с лихвой одаривает другим. Так он и поступил с нашим Арто: красоты не дал, зато наградил такой болтливостью, что хоть уши затыкай! – Аваканц Мишик, поймав взгляд помощника портного, заговорщицки подмигнул ему и снова повернулся к печке, следя за тем, чтобы доваривающийся кофе не перелился через край джезвы. Помощник – худенький угловатый юноша с убедительным пушком над верхней губой, смущенно улыбнулся и, чтобы скрыть робость, с удвоенным

старанием принялся выкладывать на тарелку рассыпчатую гату, которую утром передала Вайинанц Нунуфар. Портной, о котором и шла речь, со вкусом зевнул, сложил на груди свои огромные бесформенные руки, откинулся на спинку стула – тот жалобно скрипнул и зашатался под его тяжестью.

– Не путай божий дар с яичницей, Мишик. Я не болтливый, а красноречивый! А вот на того из нас, кто действительно болтливый, не будем пальцем показывать, да, Масис-джан?! – обратился к своему помощнику Арто. Масис, окончательно растерявшись, застыл над тарелкой.

– Хорош смущать ребенка! – заступился за него Колик.

– Да я вроде давно уже не ребенок! – прерывающимся от предательского волнения фальцетом выкрикнул Масис. Конец его фразы потонул в одобрительном хохоте.

– Уел так уел! – хлопал себя по бокам Арто, трясясь большим круглым животом. Стул, на котором он сидел, ходил ходуном, грозясь развалиться. Сапожник смеялся, полуприседая и тонко взвизгивая. И только бакалейщик сохранял напускное хладнокровие, впрочем, по прыгающим уголкам губ было ясно, что продержится он так недолго.

– Снова над ребенком издеваетесь? – заглянул в мастерскую зеленщик, вызвав своим вопросом новый приступ веселья.

– Суро, он давно уже не ребенок, пять минут как! – крикнул Колик.

– А справка у него есть?

– Конечно, есть! С гербовой печатью!

– Да ну вас! – Масис, всем своим видом давая понять, что разговор его мало волнует, извлек из коробки последний кусочек гаты, откусил половину и принялся увлеченно жевать. Когда ему протянули чашечку кофе, он взял ее нехотя, словно снисходя. Не меняя равнодушного выражения лица, отхлебнул горячего напитка – и внезапно закашлялся. Согнулся пополам, уперся ладонями в колени. Не справившись с приступом удушья, резко выпрямился, ринулся к выходу – там, на ноябрьском холодном воздухе, можно будет отдышаться. Арто с необычной для своего крупного тела резвостью вскочил со стула, выбежал следом, задев плечом дверной косяк и чудом не растянувшись на пороге, крепко приобнял Масиса, подхватил его под челюсть, заставляя откинуть голову назад таким образом, чтобы открыть проход в легкие.

– Дыши, сынок. Не паникуй, главное. Дыши.

Масис широко разинул рот, сделал несколько прерывистых вдохов и выдохов, ощущая всем телом, как высвобождается из каменных тисков грудь, и наконец-то напряжно задышал, жадно хватая колючий морозный воздух. Над головой, исполошенно курлыкая, кружила стайка голубей. Бердское небо было по-осеннему хриплым, надтреснутым, удручающе безразличным. «Это потому, что скоро зима», – подумал Масис, утирая выступившие слезы.

Мишик вынес ему воды.

– Выпей.

– Все нормально.

– Говорят тебе – пей!

Он отпил несколько глотков, вернул стакан. Перевел взгляд с взволнованного Мишика на Арто. В дверном проеме мастерской маячил расстроенный зеленщик.

– Кофе небось остыл, – протянул Масис виновато.

– Черт с ним, с кофе, главное, джансахутюн^[38]. Кашель не ослабевает?

– Ослабевает.

– Получается, от смены климата толк все-таки есть, – оживился зеленщик.

Масис не стал перечить. Посторонился, пропуская старших. Вытащил из кармана бумажную салфетку, откашлялся, утер губы. На белоснежной поверхности осталась капелька крови. Он поспешно скомкал салфетку, убрал в карман. Не дай бог заметят, тут же к врачу поволокут. В прошлый раз Арто всю больницу на уши поставил, рентгеновским снимком, словно пистолетом, размахивал. А что врачи сделают, не заставят ведь обожженные легкие в полную силу работать! С ними ничего уже не сделаешь, и Арто, конечно же, понимает это лучше всех. Потому и угрожал снимком врачам – от унижительной невозможности переменить неизменяемое.

Масис давно уже не помнил того счастливого состояния, когда можно дышать полной грудью, не остерегаясь приступов удушья. Заполучил он эти приступы на войне, которую плохо помнил – был слишком мал, когда она пришла в его родную Карин-Так. Брали деревню измором, палили из орудий, поджигали и нещадно бомбили, морили блокадой, отравляли питье. Но деревня не сдавалась. После

несчетных и провальных атак противник решился на обманный маневр – объявил двухдневное перемирие, чтобы люди могли захоронить своих погибших. А с наступлением рассвета пошел на тихий штурм. Дом Масиса находился на самом отшибе, его должны были взять первым. У отца была старая винтовка и два десятка патронов. Отложив три патрона – себе, жене и маленькому сыну, он метался между окнами, отстреливаясь таким образом, чтобы у противника создалось впечатление, что обороняются несколько человек. Противник этому поверил и пустил в дело ручные гранатометы. К тому времени, когда подоспела помощь, дом полыхал, а отец с матерью, запершись в погребе, спасались от нестерпимого жара тем, что поливали себя и сына рассолом из-под квашеной капусты. Патронов у отца, кроме тех, что он отложил напоследок, не осталось. Он как раз заряжал ими ружье, когда подоспела помощь.

Из той большой войны Масис только и запомнил, что чудовищный, выедающий глаза и легкие, чад. А еще – огромного мужчину, который, выбив плечом тяжеленную дверь, сгреб его в объятия и вынес из раскаленного погреба. Воздух снаружи был до того тугим и неподатливым, что царапал нёбо и застревал в горле. Мужчина крепко прижал его спиной к себе, подхватил под нижнюю челюсть, заставляя откинуть голову так, чтобы легче дышалось. С высоты его роста Масис и увидел заваленный бесформенными тюками двор и горящий сад. За кряжистым стволом тутового дерева, странно вывернув окровавленную шею, сидел на корточках бородач и не сводил с него взгляда. Спаситель Масиса толкнул его в плечо, и, когда тот завалился на бок, подхватил за шиворот и поволок к тюкам. И тогда стало ясно, что двор вовсе не тюками завален, а трупами.

– Если бы не ты, они бы много наших положили, – иногда говорил отцу Арто.

Отец на его слова всегда пожимал плечами.

– А если бы не ты, нас бы не было сейчас в живых!

Когда Масису исполнилось восемь, Арто забрал его к себе – врачи утверждали, что мягкий бердский климат может пойти на пользу и убавить приступы удушья, которые с каждым годом становились мучительнее и сильнее. Масис не хотел уезжать, но отец его уговорил:

– Арто тебя в помощники определит, будешь в свободное от школы время ремеслу учиться. Лишнее знание никому не помешает.

– Я портновскому ремеслу и здесь смогу научиться!

– Главное, не ремесло, а твое здоровье. Да и об Арто подумай, сынок. У тебя есть мы, есть твои младшие братья – слава богу, у нас с твоей матерью родились еще дети. А каково Арто? С тобой ему будет не так одиноко.

Вот уже пять лет, как Масис перебрался в Берд. В каникулы он гостит у родных в Карин-Таке, остальные дни проводит у Арто. Живет в его доме, в свободное от школы время помогает в мастерской. По вторникам, пока Аваканц Мишик навещает старый хачкар, заменяет его в бакалейной лавке. По пятницам и воскресеньям занимается с дочерью сапожника математикой. От денег наотрез отказывается. Мужики в нем души не чают, называют сыном полка. Воспитывают – неуклюже и бестолково. Масис с пониманием относится к их педагогическим потугам, но завел привычку огрызаться. Тринадцать лет – серьезный возраст, пора бы им это уже понять.

Иногда тоска по родному дому становится до того невыносимой, что Масиса подмывает уехать на первой же попутной машине. Но он этого не делает, чтобы не расстраивать Арто и родителей, для которых важнее его здоровья ничего нет. «Я даже готова много лет не видеться с тобой, если это поможет твоим обожженным легким выздороветь», – как-то, провожая его в очередной раз в Берд, сказала мать. Сказала, разрыдалась и обняла его так сильно, что отцу пришлось разжимать ей пальцы, чтобы помочь сыну высвободиться. Масису иногда кажется, что они так и остались в том горящем доме, и что мать до сих пор, кашляя и задыхаясь от едкого дыма, мечется между карасами, поливая всех рассолом, который мгновенно высыхает, образуя на теле царапающую корку, а отец, израсходовав все патроны, долго, невыносимую долгую вечность перекачивает на ладони последние три, а потом скупым и решительным движением дергает на себя затвор, чтобы зарядить ружье.

Однажды он признался Масису, что самое мучительное, с чем ему пришлось столкнуться, – это выбор. «Живым я все равно бы не дался. И оставить вас им на растерзание тоже не мог. У меня не было ни страха смерти, ни отчаяния, ни даже сомнения. Единственное, что меня мучило – это выбор. Все то время, пока я держал оборону дома, я думал только об одном: в кого из вас, когда настанет время, мне нужно будет выстрелить первым: в тебя или в твою мать».

О войне Масис знает ровно то, что знает каждый приграничный житель: однажды начавшись, она может не закончиться никогда. Война будет медленно расползаться, отравляя смрадным дыханием все на своем пути. Каким-нибудь утром она обязательно окажется на пороге вашего дома, и единственный выход, который она вам оставит, – уйти, забрав с собой тех, кто вам дорог.

Сердце



Забел говорила – не лежи на левом боку, сердцу больно – твоему и моему, я ведь тоже лежу на левом боку, когда и ты.

– В поликлинике работаешь, а во всякие глупости веришь! – ворчал Арто, поворачиваясь на правый бок.

– Не верю, но прабабушка с детства приучила не лежать на сердце, – оправдывалась Забел.

Она любила спать, как сама называла, – «ракушкой», если он на боку, то и она, обнимает его, прижмется трогательно и дышит в спину.

Ну и живот ты себе отъел, говорила Забел, если бы я была муравьем, мне бы целой жизни не хватило, чтобы перейти с одного его края на другой, приползла бы седой муравьиной старухой вот сюда – она тыкала его в пупок, он отбивался – боялся щекотки, она хохотала – звонко и заразительно, и договаривала, задыхаясь от смеха, – приползла бы сюда и с чувством исполненного долга богу бы душу отдала.

– Не говори так! – расстраивался Арто.

– Что толстый?

– Что душу богу отдашь!

– Родной мой. А мой родной!

– Что?

– Люблю тебя, вот что.

Забел говорила – а представь, если в тот день ты бы не ко мне зашел, а в соседний кабинет, к Цивинанц Ниник, она ведь тоже хорошая медсестра, и рука у нее легкая – такие умеет уколы делать, что не почувствуешь, и красивее она меня в тысячу раз, красивее же?! – говорила Забел, сердясь и наливаясь обидой.

Арто старался не дрогнуть лицом, чтобы не выдать своего веселья.

– Не повезло мне, да.

– Дмбо^[39]! – мгновенно вспыхивала она.

– Не знаю никого красивее тебя! – поспешно исправлялся он.

– Да?

– Да.

Ну так вот, Забел вздыхала, словно заплаканный, но успевший слегка отойти от слез ребенок, а представь, если бы ты не ко мне зашел. Мы не познакомились бы, не полюбили друг друга. Не поженились бы. Не жили бы сейчас в этом каменном доме. Я бы не кормила тебя этим обедом, вкусно же?

– Ну как тебе сказать. Может, и не очень вкусно... – тянул Арто.

– Не очень вкусно, потому вторую порцию себе положил? Ну-ка, выкладывай обратно в кастрюлю, неблагодарный!

Он сгребал ее в объятия, целовал в медовую выемку у ключиц – вкусно, дмбла-джан, вкусно!

– То-то!

Забел говорила – как может один конкретный, вполне себе компактный, а в масштабах Вселенной вообще крохотный человек занимать все пространство моей жизни? Как и, главное, зачем? Из

упертости поди. Из желания подсуропить. Или даже навредить! – и смотрела так, что у Арто ныло сердце – от нежности и любви.

– А я слушаю тебя и понимаю, какое оно бывает, если бывает, – счастье. Обожаю тебя, одна конкретная, вполне компактная, а в масштабах Вселенной вообще крохотная причина для счастья, – шептал он.

Познакомились они в морозном январе – Арто, сильно простудившись, заработал прострел в пояснице, сходил к врачу, потом заглянул в процедурную – за назначенными уколами, а там была она – нежно-румяная, с лучистыми карими глазами, с такой густой копной рыжих волос, что диву даешься, как она умудряется их под медицинский колпак заправлять. Он смутился и, наскоро придумав неуклюжую причину, собрался уйти, но она, сообразив, что он застеснялся, сказала, что вторая медсестра тоже молодая, так что деваться ему некуда. И впрямь некуда, поднял он руки, сдаваясь. Она сразу предупредила, что будет больно, потому что, кроме всего прочего, назначили колоть витамины, а витамины – всегда больно.

– Потерпите? – спросила она.

– Где наша не пропадала!

Он лег, чуть приспустил штаны, она попыталась спустить их ниже, но он не дал – коли здесь или вообще не коли. После уколов, оказавшихся действительно болезненными, она не разрешила ему подняться – полежите хотя бы десять минут, так положено. Он подчинился, но сначала, кряхтя, натянул брюки. Она рассмеялась – до чего же вы застенчивый. Какой есть, пробурчал он.

К концу лечения они знали, казалось, друг о друге все. Она карабахская, из Карин-Така, снимает комнату у Жеманжанц Катинки (Знаешь, почему они Жеманжанц? Их дед-француз был большим обжорой, и, в какое время суток его бы ни окликнули, отвечал – «же манж»! То есть «я ем»! – Надо же какие вы, бердские, смешные! – А ты думала!) Он – учится на заочном в сельхозинституте, подрабатывает в ателье пошивом брюк. (Не смотри, что руки у меня неуклюжие, шью я действительно хорошо. – Тебя очень хвалят, я слышала. – Прямо очень? – Ага! А чего это ты краснеешь? – А чего ты меня похвалой смущаешь?!)

Предложение он сделал в апреле, поженились в июне, еле перетерпев май, и все из уважения к памяти прабабушки,

утверждавшей, что в мае не женятся, потому что ничего хорошего из этого не выйдет, ведь майис-вайис^[40].

В конце лета Забел уехала погостить к своей семье, а спустя две недели ее деревня попала в окружение. Записавшись в добровольцы, Арто в составе военного отряда пробивался туда долго и безуспешно. Однажды, после тяжелейшего боя, им удалось прорвать кольцо, но лишь затем, чтобы совсем ненадолго оказаться на подступах к Карин-Таку. Арто видел в бинокль, как во дворах уцелевших от бомбежек домов полощется аккуратно постиранное белье – распашонки, ползунки, чепчики, пеленки. Как тянутся к небу тонкие струйки дыма – хозяйки затопили печки, чтобы успеть до следующего обстрела приготовить обед. Как, низко пригнувшись, чтобы не поймать пулю, перебегают от дома к дому мужчины. Собаки молчали, зато чирикали птицы и поминутно кричали петухи, внося своим заполошным разноголосьем сумятицу в этот притихший сентябрьский полдень. Неистово жужжа, носились в воздухе пчелы, голова кружилась от острого благоухания полевых цветов, вдали, разбуженная скоротечным утренним ливнем, пела река. Арто с раздражением убрал бинокль – до чего бессмысленной может казаться в войну красота природы!

Пробиться в Карин-Так удалось лишь к концу осени. Окрестности за ночь припорошило снегом и заволокло непроглядным туманом, под его покровом они и пробрались туда, без потерь просочившись сквозь вражеское окружение. На подступах к деревне, на самой кромке небольшой лощины, наткнулись на черные от гари, искореженные трупы. Времени отличать своих от чужих не было, потому забрали всех – своих похоронят, чужих тоже – та сторона особого интереса к своим погибшим не выказывала, сгинули, и ладно. Прихватив оружие, еле доволокли тела до околицы – туман к утру заморосил назойливой промозглой капелью, превращая в непроходимое месиво жирную, присыпанную снежной крупой землю. Сложив рядком тела – деревенские потом разберут, – собрались было идти дальше, но Арто вдруг резко остановился, разглядев у лежащего с края знакомый рыжий завиток, опустил на колени, сгреб горсть подтаявшего снежного крошева, преодолевая ужас, протер неузнаваемое от копоти лицо и испачканные грязью волосы, завыл – страшно и утробно, не осознавая еще той беды, что обрушилась на него, но уже задыхаясь от непереносимого ее бремени. Это была его Забел: короткостриженная,

осунувшаяся – кожа да кости, в неуклюжих солдатских сапогах, в неповоротливом мужском бушлате. Родная моя, а родная моя, позвал он, тяжело ворочая языком, ощущая, как ледяным дыханием сковывает губы. Зачем-то расстегнул ей ворот рубахи, прижался лбом к выемке у ключиц. Заметил в окоченевших пальцах лоскут ткани, с трудом его выдернул, узнал обрывок лямки санитарной сумки. Лег рядом, свернулся, как она любила, калачиком, закрыл глаза. Прислушался к боли, растекающейся в груди. Прабабушка Забел ошибалась – на правом боку сердце саднило ровно так же, как и на левом, и даже, может быть, сильнее.

Молчание



Вода должна была обязательно отстояться. Тщательно сполоснув стеклянный графин, Ниник наполнила его до горлышка, накрыла крышкой и поставила в прохладную тень. На дне графина тихо звякнула старая серебряная монета, очищая и благословляя воду. Прокалив до светлого дымка сливочное масло и оставив его в сторону – отдышаться и покрыться ломкой белесой корочкой, Ниник нарезала толстыми ломтями грубоватый деревенский хлеб и отмерила чашку похиндза. Дав огню в печке разыгаться, поставила чайник, который

быстро закипел, исходя в облупленный носик густой струйкой пара и надрываясь хриплым свистом. Дело было за малым – развести кипяток пополам с обычной водой, посолить, всыпать туда крупу, аккуратно, не давая образоваться катышкам, размешать деревянной лопаточкой, поставить на огонь, довести до «пыхтения» и дать минуту-другую повариться. Убрав с огня кастрюльку с похиндзом, Ниник обмахнула пышущий жаром верх печи чистой тряпочкой и обложила ломтями хлеба. Пока хлеб подрумянивался, она заварила чай с чабрецом и принесла из погреба мягкого козьего сыра. Отрезала кусочек сот, стараясь не сильно надавливать ножом, чтобы не дать меду вытечь. Накрыла тяжелый мельхиоровый поднос льняной салфеткой. Сложила стопочкой хрустящий хлеб и, чтоб он не обвалился, подперла чашкой чая, примостив рядом блюда с сыром и медом. Переложила в глубокую тарелку похиндз, прочертила ребром ложки бороздки, полила подостывшим растопленным маслом – оно заново растаяло и растеклось веселыми ручейками по каше. Понесла поднос, осторожно ступая и поминутно заглядывая под ноги. Кухонную дверь пришлось открыть, толкнув боком. Чай расплескался, оставив на чистой салфетке два темных пятнышка. Ниник отругала себя за короткую память – ведь ежеутренне напоминает себе оставлять дверь открытой – и забывает. Протяжно скрипели под ногами деревянные половицы. Подхваченные сквозняком, качались на окнах старенькие шторы, пропуская скудный осенний свет. Надсадно тикали, отмеряя время, старинные часы – теперь и не узнать, сколько им точно лет. Мать рассказывала, что остались они от Жаманц Вагинака, который чуть ли не век назад приходил просить руки ее прабабки Анаит. Ему тогда было восемнадцать, ей – пятнадцать, он был крепким плечистым силачом, настоящим пахлеваном^[41], она – первой красавицей Берда, но она ему отказала, хотя он ей нравился и она даже обещала ему днем раньше у родника, что пойдет за него, и фотокарточку свою подарила, но вот почему-то отказала – и он ушел, оскорбленный, часы забирать не стал – где это видано, чтобы отбирали подарки; никогда больше с ней не заговаривал и даже на приветствие не отвечал, а, столкнувшись на улице, переходил на другую сторону или вовсе поворачивал обратно, женился потом на Маиланц Варинке, родил двоих сыновей, погиб на Первой мировой. В его нагрудном кармане, помимо снимков детей, обнаружилась полустертая, пропахшая мужским потом и табаком

карточка Анаит, Варинка получила ее с похоронкой, принесла и передала через порог, заходить в дом отказалась, только бросила с горечью, что даже мертвым он любит Анаит больше, чем свою жену, она в том не сомневалась, потому что сердцем чуяла и знала. В семье Ниник принято было говорить, что этим часам ровно столько лет, сколько лет разбитому сердцу Жаманц Вагинака, и вот надо же, думала каждый раз Ниник, прислушиваясь к их надтреснутому бою, прабабушки давно уже нет и Вагинака нет, а свидетель их неслучившейся жизни так и отмеряет время, бесстрастный и отстраненный, безучастный к печальным событиям почти столетней давности.

Разыгравшийся за ночь ветер стучал деревянными ставнями и гудел в печной трубе, загоня в дом сладковатый древесный дым. Предчувствуя приближение снежного дождя, надсадно кричали петухи, на соседском заборе примостилась молчаливая стайка желтокрылых чижей: к морозам они всегда снимались с насиженных мест и перелетали к устью реки – зимовать в тепле. Ниник улыбнулась, отметив про себя, с какой угрюмой сосредоточенностью чижи смотрят перед собой, словно видят то, чего не дано разглядеть ни ей, ни разволновавшимся к холодам крикливым петухам, ни продрогшему, пропахшему ледяным дыханием гор ветру.

Мать лежала в дальней, самой светлой и теплой, комнате, в окна которой можно было разглядеть небольшую кипарисовую рощу, Ниник ребенком часто бегала туда – стояла под деревьями, вдыхала их острый хвойный запах, перекатывала на ладонях шершавые шишки, надкусывала и морщилась, ощутив во рту нестерпимую горечь, долго потом принюхивалась к пальцам, воскрешая в памяти влажный дух осыпанной чешуйчатými иглами земли. Когда матери стало совсем худо, Ниник перенесла ее на руках в ту комнату, шла и плакала от ужаса – мать отощала до костей и почти ничего не весила, сквозь поредевшие седые волосы просвечивала тонкая безжизненная кожа, глаза померкли, и ничего, кроме бездонной скорби, нельзя было разглядеть на ее некогда красивом, а теперь обескровленном горем лице. Ниник помнила ее другой – властной и неуступчивой, не признающей чужого мнения и своей неправоты. Ее в Берде звали тхамард ахчик – мужчина-девушка, и чего было в этом обращении больше: уважения или осуждения – невозможно было узнать: у всякого бердца было по этому

поводу свое мнение. Трех дочерей мать поднимала одна, потому что однажды, раз и навсегда поссорившись с мужем, выставила его за порог и никогда больше в дом не пускала. Прервав общение не только с ним, но и со всей его родней, отказывалась от любой помощи, денег не принимала и не забирала оставленные у порога корзины с отборными фруктами – у свекрови был огромный сад, где она умела выращивать даже то, что в этих прижимистых на урожай краях отродясь не вырастало. Впрочем, общаться дочерям с отцовской родней она не запрещала и даже отпускала погостить на несколько дней, но никогда не спрашивала, как они провели время, а все попытки рассказать мгновенно пресекала. Подарки, которые они получали, безжалостно потом выкидывала. Ниник не могла забыть, как рыдала старшая сестра, когда мать заставила ее снять полученные в подарок к пятнадцатилетию дорогие джинсы. «Ты ведь не купишь мне такие!» – плакала она, умоляя не забирать их. «Конечно, не смогу, на учительскую зарплату особо не разгуляешься», – с каменной невозмутимостью ответила мать и понесла выкидывать джинсы в нужник. Сестра тогда слегла с высокой температурой, и мать ее преданно выхаживала, но на брошенные с горечью обвинения другой дочери, что это она виновата в ее болезни, только пожала плечами – даже не надейтесь, все равно будет по-моему.

Причины ссоры родителей так и не удалось выяснить – к тому времени, когда девочки достаточно выросли, чтобы захотеть в этом разобраться, отец был мертв – сгорел от неизлечимой болезни, а мать на любые расспросы отвечала непробиваемым молчанием.

Старшие дочери, так и не смирившись с ее тяжелым характером, сразу после учебы выскочили замуж. Обе, оборвав связь с родным домом, жили в городе, звонили редко и нехотя, с матерью общались уважительно, но сухо. Узнав о ее болезни, присылали денег, но ни разу не высказали желания навестить. Впрочем, Ниник их и не звала, она знала, что сестры не приедут, обе унаследовали непреклонный нрав матери, ее неуступчивость и холодную, разрушительную ярость, потому и жили, как она, холя и лелея свою обиду и ничего, кроме нее, не признавая. Одна только Ниник выросла в тихого и бессловесного своего отца, ласковая и нежная, она всегда была рядом, не перечила матери и делала так, чтобы ей угодить. Она и внешностью пошла в него – высокая, темноволосая и темноглазая, с трогательными ямочками на щеках. Мать иногда попрекала ее этим, но Ниник разводила руками –

что поделаешь, кому-то из нас все равно суждено было напоминать тебе его, так почему не мне?

Там, в той кипарисовой роще, где она так любила проводить время в детстве, Ниник впервые поцеловалась с Жаманц Хореном, правнуком того самого Вагинака, любовь которого отвергла прабабушка Анаит. Роща стала местом их мимолетных и коротких встреч – мать, потеряв контроль над старшими дочерьями, обрушила всю свою себялюбивую и душную привязанность на младшую, следила за каждым ее шагом, провожала и встречала чуть ли не по часам – к тому времени, отучившись на медсестру, Ниник устроилась в поликлинику, и мать ревновала ее и скандалила, жалуясь на недостаток внимания каждый раз, когда она задерживалась на работе. Потому Ниник и встречалась с Хореном в кипарисовой роще – памятуя о ее детской привычке проводить там время, мать особо не волновалась, отпуская ее туда. Единственный раз, когда Ниник рискнула проявить характер и пойти ей наперекор, было ее решение выйти замуж. После долгих скандалов мать уступила, взяв с дочери слово, что жить они будут у нее. Терпела присутствие зятя, сцепив зубы, на любые расспросы отвечала холодным молчанием, выходила из комнаты, куда он заходил, не удостоив даже взгляда. Хорен относился к ее неприязни с юмором, иронично называя матушкой, задавал вопросы и, не дождавсь ответа, делал все за нее; Ниник то смеялась, то одергивала его, но подспудно понимала, что если кому-то и дано справиться с матерью, то только новому мужчине в семье. Впрочем, это понимала не только Ниник, но и мать, потому ни на какие уступки зятю не шла и не собиралась.

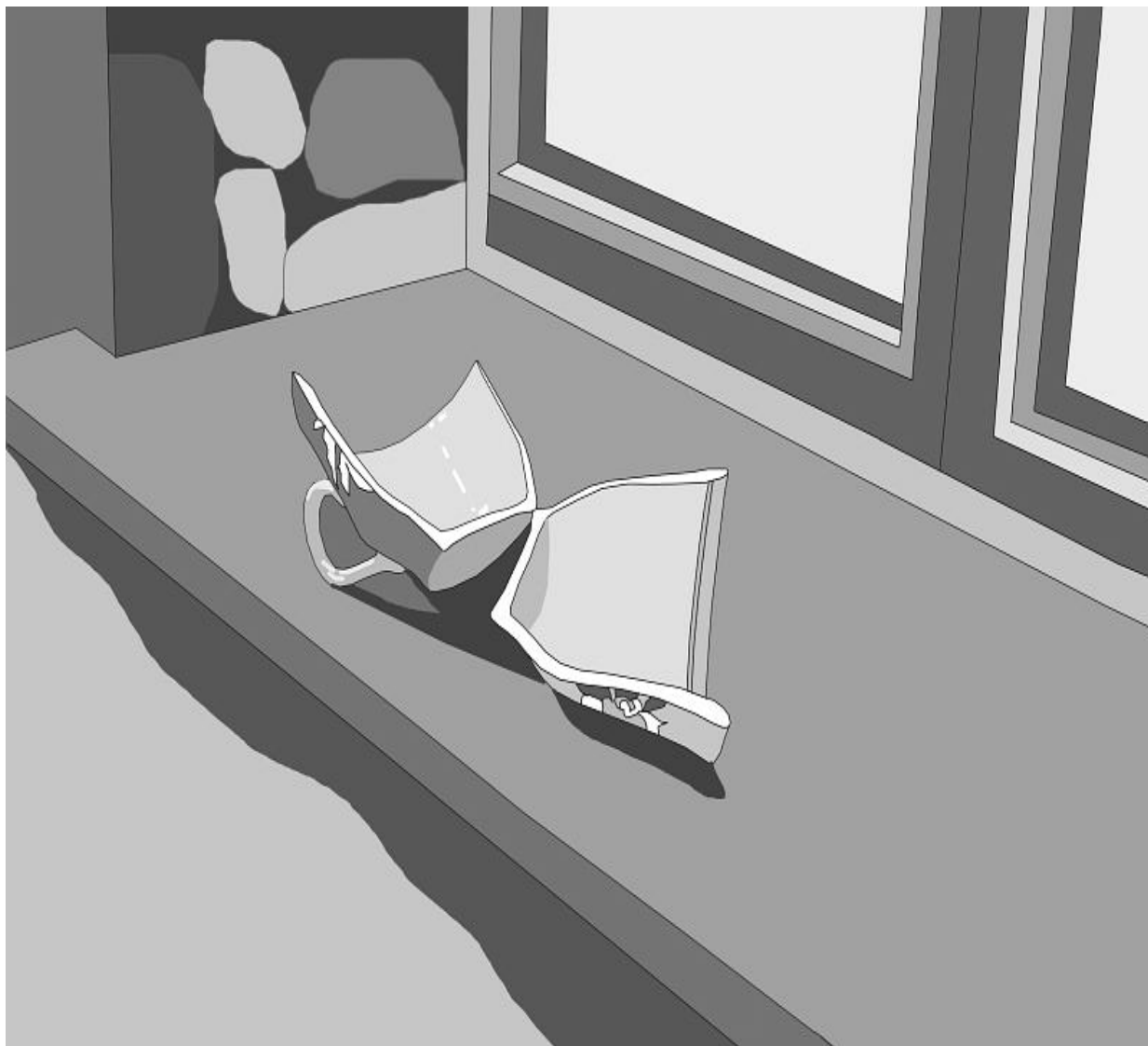
Война грянула, когда они едва справили годовщину свадьбы, забрала Хорена почти сразу же, Ниник каждый раз замирала от нестерпимой боли, вспоминая, как, испугавшись громкого стука – в Берде не принято было стучаться, приотворяли дверь и звали хозяев, она вышла в прихожую, уже зная, что случилось непоправимое. В ее ушах до сих пор звучал торжествующий голос матери – не зря я отговаривала выходить за него замуж, сердцем чуяла, что ничего путного из этого не выйдет! Ты бы хоть сейчас заткнулась! – резко оборвала ее Ниник, прошла мимо, намеренно задев плечом, споткнулась, рухнула на пол, умудрившись так извернуться в падении, чтоб не удариться округлившимся животом, поползла, помогая себе рукой, ткнулась головой в угол тахты, притихла. Дочь родилась к весне,

хорошенькая большеглазая девочка, темные волосики, ямочки на щеках. Ниник назвала ее вымышленным именем – Хорени, в память об отце; мать, фыркнув, звала внучку на свой лад, но души в ней не чаяла и все заботы взяла на себя – Ниник вынуждена была отсутствовать сутками, раненых в наспех организованном военном госпитале было столько, что приходилось дневать там и ночевать. Девочка росла тихой и ласковой, к двум месяцам уже гулила и лопотала, узнавала бабушку и радовалась ей аж всем телом – выгибалась, тянулась пухлыми ручками и ножками. Однажды, накормив и запеленав внучку, бабушка уложила ее спать, а сама решила ненадолго заглянуть к соседке. К тому времени, когда вернулась, ребенок не дышал – задохнулся, отрыгнув молочной смесью.

Ниник добралась до дальней комнаты, когда часы Жаманц Вагинака, тяжело кашлянув, пробили восемь. Мать лежала, положив согнутый локоть на глаза. Заслышав скрип двери, убрала руку, приподнялась. Ниник поставила поднос с завтраком на прикроватную тумбочку, наклонилась, поцеловала ее в лоб, в глаза. Распахнула шторы, приоткрыла форточку, впуская свежий утренний воздух. Пока она ходила за водой для умывания, мать привычно плакала – молчаливо, без всхлипов и причитаний. Ниник занесла в комнату эмалированный таз с теплой водой, смочила полотенце, тщательно его отжав, раздела мать и протерла ее исхудалое прозрачное тело. Одеда в свежую ночную рубашку, старую кинула под кровать – потом простирнет. Помогла усесться, поправив в изголовье подушки таким образом, чтобы удобно было облакачиваться. Принялась кормить ее, как младенца, бережно подбирая остатки каши с уголков губ ребром ложки. Намазала ломоть хлеба мягким сыром, обмакнула в мед, но мать отрицательно покачала головой – наелась. Ниник смахнула с ее ночной рубашки крошки, налила свежей воды, пододвинула стакан таким образом, чтобы легче было до него дотянуться. Оставила на прикроватной тумбочке графин – на дне тускло поблескивала старая серебряная монета. Вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. На обед сегодня будет деревенский куриный суп на рисе и желтке, обильно сдобренный мелкорубленной кинзой – мать ее очень любит. На ужин Ниник испечет сали – на тонком слоеном тесте, в сахарной обсыпке. Пора уже озаботиться выпечкой – возни с ней много.

Первым делом она поставила отвариваться курицу, затем замесила тесто и, накрыв его полотенцем, отставила в сторону – надышаться. Пока она растирала в рассыпчатую массу эс – начинку для сали на муке и топленом сливочном масле, в дальней комнате с видом на кипарисовую рощу беззвучно плакала мать. Со дня смерти ребенка Ниник не обменялась с ней и словом. Не корила, не винула. Ухаживала за ней, слегшей от горя, преданно, с любовью. Несла свою боль с безмолвным, смиренным достоинством. И молчала, молчала, молчала.

Смех



– Надо же, как глубоко в тебе ветер засел! – расстроено цокала языком старая Ехизабет, кутая внука в толстенное одеяло из кусачей овечьей шерсти. Суро стучал зубами, дул на озябшие пальцы, подбирал ноги к животу, зарывался головой в подушку – и не согревался. Ехизабет приложила запястье к его лбу, проверяя, есть ли у него температура, с облегчением выдохнула – вроде нет, помогла натянуть на ледяные ступни гулпа, накинула поверх одеяла еще одно, тщательно подоткнула края.

Жарко затопленная печь трещала, отбрасывая на пол мерцающий отблеск пламени. Ехизабет открыла заслонку, подгребла кочергой горящие поленья, освобождая немного места, засунула туда два кирпича. Вытащила из бельевого сундука ветхую простынь, разорвала вдоль пополам, а каждую половину – еще на несколько лоскутов. Поддев кочергой, вынула горячие кирпичи, завернула в тряпицы, положила под ноги внуку. Тот плотно прижался ступнями к камням, потянул носом, вдыхая знакомый с детства запах прогретой крахмальной ткани.

– Цавд танем, Суро-джан, – шепнула Ехизабет, снова подтыкая одеяло. – Ты лежи, а я тебе лечебного питья заварю.

Она засыпала в чайник по горсточке сушеного чабреца и мяты, залила кипятком. Дав настояться, добавила три столовые ложки густого кизилового варенья, размешала. Процедила через ситечко в чашку. Села на краешек тахты, осторожно откинула край одеяла. Суро приподнялся на локте, потянулся губами, жадно глотнул, обжигаясь. Заелозил, меняя положение тела – пустой рукав рубахи, закрутившись жгутом и угодив ему под бок, причинял неудобство. Ехизабет вытащила рукав, расправила.

– Лучше бы ты отрезала и пускала их на тряпки, – бросил в раздражении Суро, – все равно без дела болтаются!

Но она его досадливо одернула: «Бала-джан, ты хорошо подумал перед тем, как мне такое говорить?»

Он хмыкнул, промолчал. Забрал чашку, неловко подцепив ее за ручку покалеченным указательным пальцем, она безропотно отдала, но предусмотрительно подставила ковшиком свою сухонькую ладонь.

– Не пролью, не маленький, – буркнул незлобиво Суро.

Ехизабет не стала возражать, но и ладонь не убрала.

– Согрелся? – спросила, глядя его по растрепанным волосам. Он хотел было отодвинуться, но все-таки не стал, чтоб не обижать ее.

– Согрелся.

– Где вы так надолго застряли?

– В Чинари. Под обстрел попали. Ехали потом с разбитыми окнами. Машина, слава богу, не сильно пострадала, крыло только восстанавливать, ну и лобовое стекло с боковыми вставлять. Стреляют обильно, но бестолково, как не умели воевать, так и не умеют.

– Потому и продрогли до костей, сквозняком небось всю дорогу в лицо дуло! – покачала головой Ехизабет, пропуская мимо ушей едкое замечание внука о боевых способностях противника.

Суро вернул ей чашку, скорчил умильную гримасу:

– Вай, бабо, вай!

– Смеется еще! Накрывайся давай. Может, баню затопить, чтоб хорошенько пропарился и всю хворь отогнал?

– Отлежусь – там видно будет.

Он зарылся головой в подушку, нащупал ступнями кирпичи, которые хоть и успели подостыть, но все так же грели, разгоняя по венам заботливое сухое тепло. Ехизабет с кряхтением поднялась, понесла ополаскивать чашку.

– Ты только кизилловые ягоды не выкидывай! – крикнул он ей.

– Я, может, и старая, но из ума еще не выжила – забывать, что ты любишь распаренный кизил! – хмыкнула она.

Дощатая пристройка, служащая хозяйственным помещением, была сразу под лестницей, ведущей на веранду. Раньше посуду мыли на кухне, но с войной все поменялось – дом стоял углом, на самой окраине, и просматривался с противоположной стороны, как на ладони. Вот снайперы и развлекались, ловя в окнах силуэт Ехизабет. Разбили все стекла, расколотили посуду. Мужики наспех смастерили ставни, навесили их ночью на пустые оконные рамы, но стрельба не прекращалась, а пули с легкостью пробивали деревянные щиты. Пришлось перебираться в северную часть дома, а под лестницей веранды сооружать пристройку под кухню.

Вода была совсем ледяной, но ходить за теплой Ехизабет не стала – чашку можно и холодной сполоснуть. Поднялась на цыпочки, отодвинула жестяной лист, служащий колонке крышкой, проверила уровень воды. На сегодня хватит, но с утра надо будет еще натаскать. Вымыв чашку, она почему-то не поставила ее на сподручную полку в посудный шкаф (на этой полке хранилась та посуда, которой пользовались чаще всего, потому располагалась она на такой высоте, чтобы легче было дотянуться до любого ее угла), а, повертев бездумно в руках, убрала в карман передника.

Заглянула к Суро – тот спал, приоткрыв рот. «И хорошо», – удовлетворенно подумала Ехизабет: глубокий сон всегда влиял на внука благотворно – он с детства обладал удивительной способностью

побеждать простуду, просто хорошо выспавшись. Чуть отворив форточку, чтобы комната проветривалась от печного жара, она ушла к себе.

Телефонный аппарат стоял на тумбочке рядом со старым телевизором. Ехизабет осторожно понесла его, придерживая за провод, чтобы нечаянно не наступить. Оставив на подоконнике, вернулась за стулом. Установила его таким образом, чтобы сидеть к окну левым боком. Полезла в карман передника за очками, обнаружила там чашку, обругала себя беспамятной овцой. Водрузив на переносицу очки, принялась с важным видом надавливать на кнопки телефона, который раз поражаясь тому, как просто теперь стало набирать номер. Раньше, пока диск накрутишь, – половина дня уйдет, а теперь хлоп-хлоп-хлоп, и пожалуйста, после недолгих гудков в трубке раздается скрипучий голос Макаранц Тейминэ, поразительным образом всегда угадывающей, кто ей звонит.

– Ехизабет, это ты? – вот и в этот раз не ошиблась она.

– Как догадалась, что я? – привычно изумилась Ехизабет.

Тейминэ довольно рассмеялась.

– Почувствовала. Как там Суро?

– Спит. Как твой Колик?

– Отвез машину в ремонт. Все окна прострелили, кроме заднего.

Справа несколько следов от пуль осталось. По шинам целились, но не попали.

В трубке воцарилась напряженная тишина. Ехизабет тоже молчала, глотая слезы. Говорить о том, какая участь постигла бы внуков, угоди хоть одна пуля в колесо машины, было выше их сил. Вон, Закинанц Мартироса недавно из плена вернули. В таком состоянии, что дочь его в обморок упала, когда его увечья увидела.

– Хоть бы дорогу безопасную построили, чтоб не вдоль границы, – вздохнула Тейминэ.

– Построят, а как же. Деньгами на дорогу подавятся, но не построят! – с горечью отозвалась Ехизабет, подразумевая власть, вот уже который год кормящую пустыми обещаниями народ.

Сквозь гул телефонных проводов слышно было, как Тейминэ несколько раз тяжело вздохнула.

– Ничего, – наконец отозвалась она, – каждому по его поступкам и воздастся. И тем и этим.

Ехизабет сделала торопливый жест рукой, словно отгоняла назойливую муху. Задела чашку, та слетела с подоконника, и, глухо стукнувшись об пол, раскололась на две равные половинки.

– Не верю я в справедливость, Теймо! И в воздаяние не верю. За что пострадал мой Суро? Семью в бомбежке потерял, живет калекой – одну руку взрывом оторвало, другую покалечило. Ты сама видела, как он своими изуродованными пальцами зелень перебирает, как тяжело трудится, чтобы прокормиться и прокормить меня. Или твой несчастный Колик? Сначала жену похоронил, потом – старшую дочь. Вынужден по этой проклятой обстреливаемой дороге в город ездить, чтоб материал для ремонта обуви покупать. За что он страдает? Или бедный Арто, до сих пор оплакивающий свою Забел? Я как-то намекнула ему, говорю, зачем себя заживо хоронить, посватайся к Ниник, она хорошая девушка, поженитесь, пока еще молодые, детей родите, счастливы будете. А он махнул рукой – какие дети, когда душа навывлет болит. Вот ты мне скажи – за что страдают наши дети и внуки? И за какие такие благие дела жиреют эти сволочи у власти?

– Ты поаккуратнее с такими словами, Ехизо, – заволновалась Тейминэ.

– Это почему?

– Мало ли, вдруг этим, что у власти, они не понравятся.

– Да какала я на их головы! – бросила в сердцах Ехизабет. – Слова им мои не понравятся? Какала я на их головы каждое утро. И каждый вечер! Понятно?

– Понятно, что ж тут непонятного, – безмятежно отозвалась Тейминэ.

Ехизабет шмякнула на подоконник телефонную трубку, наклонилась, подняла осколки чашки, спрятала в карман фартука. Снова прижала к уху трубку.

– И что же тебе понятно? – спросила, переводя дыхание.

– То и понятно, что навевываешься ты в уборную по большой нужде как на службу, каждое утро. А если тебя рассердить – то и по вечерам можешь туда наведаться.

Смеялись, утирая краем рукава выступившие слезы. Ехизабет – сидя у окна своего дома на обстреливаемой окраине Берда, Тейминэ – в прихожей своего дома, который, может, и не обстреливался снайперами, потому что находился на другом конце городка, зато часто попадал под

минометный обстрел: ведь туда, куда не долетали пули, неизменно и безошибочно добирались снаряды.

Бессмертник



– Ки-кя, ки-кя, ки-кя, ки-кя, – звучал назойливым эхом гвалт пестрых цесарок. Переваливаясь с лапки на лапку, они бродили по картофельным кустикам, выискивая полосатых колорадских жуков. В противоположность другой домашней птице, цесарки грядок не разрывали, потому Ашхен беспрепятственно допускала их в огород, правда, старалась глаз с них не спускать – грядок, может, и не попортят, зато молодую поросль зелени поклюют так, что придется за ней потом к соседке Вардануш ходить. Будто услышав ее мысли, в проеме частокола возникла сама Вардануш – невысокая крепко сбитая женщина с нездоровым румянцем на рыхлых щеках. Окинув Ашхен цепким взглядом тускло-голубых глаз и не ответив на ее приветствие, она продолжила мести двор. Ашхен пожала плечами, но укорять соседку за неучтивость не стала – смысл объяснять взрослому человеку простые вещи. В Берде принято было на приветствие отвечать вежливым «твое „здравствуй“ принадлежит Богу», и, если Вардануш нечего сказать даже создателю, какой резон простым смертным на нее обижаться?

Соседка еще долго шкрябала по сухому дну двора, поднимая клубы пыли. «Поленилась сбрызнуть землю водой, вот и глотает грязь», – вздохнула Ашхен и перевела взгляд на снующих по картофелю цесарок – две из них добрались до цитрона и теперь, неустанно квохча, выщипывали там и сям ее листики. «Вот ведь глупая птица», – вяло подумала Ашхен, но отгонять цесарок не стала – все одно есть свежий цитрон больше никому, а сушеного в погребе столько – на три жизни хватит. Приведут могилу отца в порядок – она засеет землю вокруг надгробья цитроном. Будет расти и расцветать, в жару пахнуть остро-пряным, а в туман – терпко-свежим. Пусть ему будет хорошо.

На каменном полу веранды, залитые ласковым утренним светом, сохли ветви лилового бессмертника. Отец терпеть не мог новомодные пластиковые щетки, да и к сорго относился с настороженностью – не наше оно, так зачем обзаводиться? Собирал по старинке бессмертник, тщательно его обрабатывал, вязал веники и метлы – они получались, словно нарядные северные девицы – длинные, беловолосые, с вплетенными в косы блеклыми цветками. Цветки эти потом осыпались, оставляя за собой скудный шлейф остролистных лепестков. Ходишь по

подметенному двору – словно по опаленному до хрипоты августовскому полю ступаешь. Намочишь такую метлу – и она пахнет всем тем, чем ты привычно дышишь с детства: влажными половицами, кислой сливой, растертым в пальцах щавелевым листом, недобродившим вином... Эх!

Ашхен поднялась, аккуратно сложила шаль, в которую, несмотря на погожее утро, куталась, накинула ее на перила веранды таким образом, чтобы тень не падала на бессмертник. Поворошила его, перевернула каждый стебель на другой бок, давая возможность обсохнуть со всех сторон. К концу недели можно будет браться за дело. У нее, конечно, как у отца, не получится – у того, как, восхищенно цокая языками, поговаривали бердцы, каждый веник был произведением искусства, хоть в музее выставляй. Но она очень постарается, в конце концов, с самого детства наблюдала, как отец работает. Один веник потом оставит себе, другой отнесет на кладбище. Нужно попросить Майинанц Цатура, чтобы он позволил хранить его в своей подсобке, иначе, если оставить на открытом воздухе, бессмертник ветром потреплет или дождем попортит. Поставят оградку и приведут в порядок тропинку, ведущую к изголовью, – Ашхен будет этим веником чистоту наводить. Вчера она как раз заходила в мастерскую, посмотреть, что получается. Надгробие отцу бы понравилось: вытянутая кверху черная плита с датой рождения-смерти и именем: Мартирос Коджоян. От портрета Ашхен отказалась – новую карточку так и не сподобились сделать, а брать ту, что напечатали в газетах, она не захотела – там отец выглядел так, что сердце заходило от боли. Всю жизнь она знала его другим, но запомнит только таким: вздрагивающим от любого шороха, умирающим в мучениях немощным стариком.

– Эт ов эс?^[42] – слышав шаги, вскрикивал он и падал навзничь, зарываясь лицом в руки.

Первое время она увещевала и пыталась заставить его подняться, но он не поддавался, только плакал и причитал, крепче вжимаясь в пол. Тогда она стала ложиться на него сверху, прикрывая, словно от обстрела, собой.

– Это я, папочка, твоя Ашхен. Это я, папочка! – приговаривала, ощущая, как понемногу обмякает его тело. Он подолгу молчал, но

потом, уходя от ужаса, принимался мерно, словно молитву, пришептывать:

– Господи, я дома. А это – моя дочь. Господи, я дома. А это – моя дочь.

Нашаривал ее руку, прижимал к губам.

– Ты как? – спрашивала она.

– Хорошо, цавд танем.

Если можно было бы умереть от горя, Ашхен умерла бы тогда. Она лежала на отце, обхватив его плечи руками и, сдерживая рыдания, судорожно вдыхала его запах. За время плена он отощал до костей и пах одиночеством и унынием. Она гладила его по шее, по обритой наголо, испещренной татуировками голове – некоторые из них были покрыты незаживающими корочками ран, но можно было разглядеть рисунок: здесь – полумесяц со звездой, там – восточная вязь. Что должно твориться в душах у людей и как они должны не уважать себя, своего бога и своих старых родителей, чтобы сотворить такое с семидесятилетним стариком? – задавалась вопросом Ашхен и не находила ответа.

Отец сторел стремительно, сразу после того, как его вернули. Умирал мучительно и тяжело, страдал приступами паники и чудовищными болями, задыхался, терял сознание, исходил кровью.

– Сделайте что-нибудь! – плакала от бессилия Ашхен. Врачи виновато разводили руками: перед выдачей «Красному Кресту», занимавшемуся возвращением пленных, отцу ввели запрещенные препараты, против которых медицина была бессильна.

– Сделайте что-нибудь! – требовала у следователя Ашхен. Тот прикуривал от одной сигареты другую.

– Все, что в наших силах, – мы уже сделали: завели дело о похищении человека и пытках, – он хмурился, раздосадованный бессмысленностью своего ответа, отводил глаза.

– Но кто-то ведь должен добиться справедливости! – не унималась Ашхен. – Кто, если не вы?

Следователь докуривал в две затяжки сигарету, молчал. Однажды, во время очередного ее визита, он вытащил из сейфа высокую стопку папок, положил перед ней. Сел напротив, сложил перед собой руки, одну почему-то ладонью вверх, словно на случай, если она захочет вложить в нее свою. Она несколько секунд рассматривала его ладонь,

машинально отметила ломкую линию жизни, нахмурилась, отгоняя ненужные мысли, раскрыла первую папку, наткнулась взглядом на имя Крнатанц Антарам, прикусила губу.

– Такая вот справедливость, – горько усмехнувшись, проговорил следователь. – В какие международные инстанции мы только не обращались. Никому до нас нет дела.

– И как же теперь мне быть? – спросила она.

Следователь пожал плечами и отвел взгляд.

Ашхен больше к нему не ходила.

– Как только меня ни пытали, дочка, – жаловался, когда становилось совсем невмоготу, отец. – Что только со мной не вытворяли!

– Что... вытворяли? – холодея от ужаса, повторяла эхом она.

Отец умер на закате – Ашхен как раз заглянула к нему, чтобы удостовериться, что он спит. Он уже был на излете, отходил мучительно и тяжело, задыхаясь, цеплялся за невесомый воздух пальцами, ввалившиеся глаза смотрели страшно и темно, постель насквозь пропиталась кровью – она сочилась из всех пор, покрывая липкой пеленой измученное ядом истощенное до костей тело.

Первое, что сделала Ашхен после похорон, – сходила на поле, где отец собирал бессмертник. Расстелила шаль, легла, раскинув руки. Вокруг было так молчаливо и покойно, будто на мир опрокинули целый воз умиротворения. Вверху, стремительно меняя очертания, проплывали густо-белоснежные облака. «Значит, быть непогоде, раз небесный пастух поторапливает свое стадо», – подумала Ашхен и горько разрыдалась. В то злосчастное утро, снаряжаясь за бессмертником, отец так и сказал, наблюдая суматоху в небесах. Собирался он непривычно долго, то одно дело его отвлечет, то другое. Ашхен даже упрекнула его – день за полдень перевалил, скоро дождь стеной встанет, а ты все тянешь. Отец виновато пробубнил оправдания, ушел, позабыв еду. Она обнаружила сверток с бутербродами на скамейке под тутовником, расстроилась, но успокоила себя – попросу Масиса отнести, он хороший мальчик, не откажет. Масис, конечно же, не отказал, но никого на бессмертниковом поле не нашел. Почувяв неладное, он обратился к военным, те прочесали окрестности до нейтральной полосы, вернулись ни с чем. Спустя несколько недель пришла весть, что отец в плену.

С того дня, когда его не стало, Ашхен разучилась дышать полной грудью. Родные увещевали ее заняться своим здоровьем, но она отмахивалась – беспокоиться не о чем, само выправится. Жила, как и раньше – заботилась о детях, ждала мужа, половину месяца проводившего на границе. Иногда, подрезая крылья какой-нибудь резвой цесарке – чтоб та не смогла улететь, она думала о том, что сама превратилась в такую цесарку – живет, прибитая к земле горем и невозможностью от него избавиться. Вопреки глубокому отчаянию, мысли ее об отце были легкими и светлыми. Уж там, в тех искрящихся просторах, где теперь обитает его душа, обязательно найдется поле, где он сможет вдоволь, без страха быть выкраденным и замученным до смерти, собирать бессмертник, – не сомневалась Ашхен. Небеса – это бескрайние бессмертничковы поля, сине-лиловые, безбрежные. Теперь отец об этом знает наверняка.

Вина



Отгрохотав грозой, небо к полудню очистилось от туч и засияло начисто отмытой синевой. Вардануш распахнула створки шушабанда, на недолгий миг впустила в дом стеклянный звон воздуха. Быстрый горный ветер уходил за горизонт, влача за собой рваный подол редяющего дождя. «Ки-кя, ки-кя», – радуясь перемене в погоде, шумели за забором цесарки соседки Ашхен, нагоняя своим бессмысленным клетотом глухое раздражение. «Чтоб вам подохнуть от неизлечимого чора^[43]!» – в сердцах пожелала Вардануш и сердито захлопнула окно.

Задержав вылинявшие на солнце шторы так, чтобы не оставлять просвета – с детства терпеть не могла косые полосы лучей на полу, – она медленно и вдумчиво прошлась по дому, оглядывая его с таким неподдельным любопытством, словно видела впервые. В прихожей, придирчиво осмотрев деревянную тахту, взбила подушки, уложив их плотным рядом вдоль стенки, отошла на два шага, залюбовалась их красотой (прошлой осенью, найдя время, вышила на них ромашки и маки, и теперь подушки грели душу и радовали глаз яркой расцветкой). По бокам тахты примостила полнотелые, набитые всяким войлочным тряпьем бархатные мутаки ^[44], этакие назирь-везири ^[45] – надменные и неуступчивые, наследие долгого персидского владычества, оставившего свою метку на быте многих восточноармянских семей. Поддев указательным пальцем, Вардануш поправила оборки и кончики их серебристых завязок. Еще раз окинув требовательным взглядом тахту и удовлетворившись ее видом, она пошла дальше.

В гостиной было прохладно и совсем пасмурно, потолок по углам затянула мертвая паутина. На книжной полке, тусклым циферблатом ко входу, стояли старые механические часы. Судя по времени, которое они показывали, завод закончился несколько минут назад. С кряхтением привстав на цыпочки, Вардануш поспешно завела их, закрутив пружину почти до упора, правда, переставлять стрелки не стала (в том не было никакой необходимости – она удивительным образом чувствовала время и умела безошибочно его угадать). Часы нужны были для другого: они тикали – громко и, казалось, даже с претензией, наполняя спасительным шумом гулкую тишину комнат. Несмотря на свое долгое и беспросветное одиночество, Вардануш боялась смерти и желала существовать как можно дольше, оттого и заводила часы, убежденная в том, что жизнь продолжается, пока кто-то отмеряет ее течение.

В спальню сына она заглядывать не стала – делать ей там нечего и смотреть не на что: комната как комната – комод с овальным, покрытым белесыми пятнами зеркалом, заправленная шерстяным пледом кровать, пустой, хоть шаром покати, шифоньер, лишь на верхней полке лежит забытый бывшей невесткой ситцевый халат, Вардануш несколько раз порывалась его передать, но потом передумывала – будь в том необходимость, невестка давно бы прислала кого-нибудь за ним. А раз не присылает, значит, так тому и быть.

В свою комнату она тоже заходить не стала – и без того, вздыхая и непрерывно причитая, вынуждена была проводить там долгие беспросветные ночи, ворочаясь с боку на бок и поджидая сон. Прикорнуть удавалось только перед рассветом, когда заспанное небо принималось потихоньку задувать слабеющие огоньки звезд. Вот с той поры и до первого гудка грузовика мусорщика Вардануш и забывалась недолгой дремой, каждый раз падая в нее, словно в темную безысходную пропасть. Снов она не видела или не запоминала, и тому откровенно радовалась: бабка, царствие ей небесное, уверяла, что сновидения – это отношение окружающих к человеку, и что они о нем думают, такие сны его и посещают. Не то чтобы Вардануш верила ее словам, но, зная о неприязненном отношении бердцев к себе, утешалась отсутствием снов.

– Только этого не хватало, чтобы они меня и ночью донимали, – бубнила она себе под нос, шкрябая цветочной метлой по сухой земле и прислушиваясь к глухому раздражению, захлестывающему душу каждый раз, когда она вспоминала о своих земляках, – в чужом глазу соломинку заметят, а в своем бревна не видят! Вон, даже Ашхен. С каким она сегодня осуждением за ней наблюдала, небось думала, что соседка, совсем обленившись, не захотела двор поливать. Или того хлеще – что намеренно этого не сделала, чтобы задушить ее клубами пыли. А чего, спрашивается, двор поливать, если скоро ливень хлынет? По чистому небу, может, и не заподозришь, но Вардануш-то непогоду загодя чувствует: тело крутит и ломит, аж каждой косточкой отзывается, и голова раскалывается так, что хоть ложись и помирай. Разве расскажешь об этом соседке, которой нет никакого дела до твоих объяснений, потому что она давно уже решила, что все про тебя знает? Здоровается, главное, улыбается. Что за лицемерный народ эти бердцы, в глаза одно говорят, а в спину другое думают! Лучше бы мимо шли и не замечали, прожила она пятнадцать лет без них, и дальше проживет!

Несмотря на воинственную решительность, одиночеством Вардануш тяготилась. Когда становилось совсем невмоготу, она заглядывала к Овинанц Мариам – единственной, с кем держала связь. Мариам заваривала чаю с мятой,ставляла простое угощение. Пока Вардануш рассказывала о своем житье-бытье, она вязала или вышивала – не привыкла без дела сидеть. Вдоволь наговорившись, Вардануш собиралась уходить, так и не притронувшись к чаю.

– Можно я потом еще приду? – спрашивала, в нерешительности переминаясь на пороге.

Мариам на секунду замирала, словно не понимая, чего от нее требуют, потом всплескивала руками:

– Вардануш-мокир, вы зачем спрашиваете? Приходите, когда пожелаете. Я вам всегда рада.

– Спасибо, дочка.

В школьном альбоме сына, на самой первой странице, заправленная в двойные картонные уголки, красовалась большая черно-белая фотография: он с Мариам, растерянные первоклассники, сидят за партой, неумело сложив перед собой руки. У Мариам волосы заплетены в две тоненькие косички и обвязаны большими бантами. Ворот рубашки сына подогнут, Вардануш каждый раз проводит по нему пальцем, пытаясь расправить непокорный край. Глаза у него большие, чуть навывкате, бровки белесые – на фото не разглядеть. Белесые, но не по-детски густые, Вардануш чуть ли не с первых дней его жизни слюнявила указательный палец и пыталась пригладить и придать им форму. Сын кривился и мотал головой – не любил прикосновений.

Вардануш растила его одна – муж, уехав на заработки на далекий Север, нашел себе там другую жену, первое время звонил и присылал деньги, потом перестал. Она подспудно этого ждала, потому что знала – большинство мужчин, отказавшись от одной семьи в угоду другой, обязательно обрывают все нити, связывающие с прошлым, чтобы успокоить ноющую совесть. Дождавшись, когда муж исчезнет из ее жизни навсегда, Вардануш вынесла во двор все вещи, что напоминали о нем, и без сожаления сожгла. Сыну тогда было три года, он, не понимая, что происходит, радовался костру, бегал вокруг, подкидывая то хворостиночку, то травинку, Вардануш не мешала ему и с неприкрытым удовлетворением наблюдала, как исчезают в огне любимая гитара мужа, его книги, твидовый двубортный пиджак, на который они долго копили, откладывая от скудной своей зарплаты, белоснежная хлопковая рубашка с крохотными синими корабликами на манжетах – Вардануш вышила их за одну ночь. Носил муж эту рубашку с гордостью, забирать с собой на север не стал – побоялся поставить пятно и не отстирать. Все обещал: вернусь – надену рубашку, пойдем в кино, на твои любимые «Три тополя на Плющихе». Не вернулся, не сходили.

Сын рос непослушным ребенком, все делал по-своему, зачастую – наперекор матери. Отслужил в армии, отучился на агронома. Женился, не попросив ее благословения, на малообразованной девушке – восемь классов школы, работа нянечкой в яслях. Вардануш его выбор не приняла, но деваться было некуда, не выставляя же молодых на улицу. Сыну она перечить не стала – слишком велика была любовь к нему, но невестку, тихую и бессловесную домашнюю девочку, учуяв всю свою власть над ней, изводила колкими замечаниями. Что бы та ни сделала, все свекрови было не по душе: белье недостаточно накрахмалено и плохо проглажено, хлеб твердокаменный – тесто перемесила, на полу после мытья остались грязные разводы. «Где ты там разводы видишь?» – не вытерпев однажды, напустился на нее сын. «Где надо, там и вижу», – вскинулась Вардануш. Невестка молча утирала слезы. Все в ее позе – опущенная голова, пальцы, лихорадочно теребящие край рукава, – говорило о глубоком ее несчастье. Вардануш осеклась, ощутив укол совести, и даже на время оставила ее в покое, но потом с удвоенным рвением принялась ее изводить, вымещая на ней злобу, скопившуюся за долгие годы женского одиночества.

Война забрала сына в лютом феврале. Похоронив его, Вардануш, ничуть не сомневаясь в верности своего решения, повела беременную невестку избавляться от плода. Срок был недопустимый – пять с половиной месяцев, но она нашла стоворчивого врача и, заплатив большие деньги, добилась своего. Обезволенная горем невестка безропотно подчинилась, а выписавшись из больницы, собрала вещи и уехала к родным.

С того дня бердцы и отвернулись от Вардануш. Она же, посчитав ниже своего достоинства кому-то из них что-либо объяснять, без сожаления свела общение с ними на нет. Жила, тяготясь своим одиночеством, но в каком-то отношении даже сроднившись с ним. О сыне плакать себе запретила, на кладбище ходила редко. Когда мимо ее двора, направляясь на речку, пробегала шумная ватага детворы, она выпрямлялась, прикладывала ладонь ко лбу, заслоняя глаза от слепящего солнца, и выискивала среди них сыновей-погодков бывшей невестки. Шептала, беззвучно шевеля губами: вон один, а вон второй. Прошло время, невестка снова вышла замуж, родила детей. Вардануш до сих пор помнила, как она – бледная, с темными кругами под глазами, по привычке прикладывая руку к выпростанному животу и испуганно

отдергивая ее, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимание, собирала вещи. Ушла, оставив на комодке единственную ценность – обручальное кольцо. Вардануш позвала ее, но она не обернулась. Слышала или нет – один Бог знает.

Спасение



Бердские свекрови любят повторять, что Овинанц Мариам лучшая, второй такой нет. Стирает она аккуратно – в меру подсинит, в меру подкрахмалит, не пересушит. Прогладит тяжелым угольным утюгом, сложит гладкими стопками, непременно переложит ситцевыми мешочками с горной лавандой. Поднимешь крышку бельевого сундука – а оттуда веет такой первозданной чистотой, что не то что находится рядом, а смотреть совестно.

Штопает Мариам так, что на ткани не разглядишь шва. Окна моет в трех водах – мыльной, обычной и разбавленной винным уксусом. Полы натирает пчелиным воском, они потом бликуют, словно лужи в лунную ночь. Двор у нее всегда подметен, дрова в поленнице сложены ровными рядами – точно ячейки в сотах, дорожки в огороде вымощены речной галькой – кто в Берде печется о красоте огородных дорожек? Только Мариам.

Готовит она до того вкусно, что ешь и не наедаешься. Хлеб легкий, будто тесто не на муке замешивали, а на невесомом солнечном свете, закрутки пахнут летом, а гата, которую она намеренно придерживает в остывающей печи до ломкой корочки, тает во рту.

– Хочешь быть настоящей хозяйкой – бери пример с Овинанц Мариам, – твердят бердские свекрови своим невесткам. Невестки обижаются, но молчат – кто осмелится сказать слово против Мариам? Она лучшая, второй такой нет, и невестки это знают наверняка.

Раньше у Мариам была большая семья: муж, сыновья, пожилые свекровь со свекром, старенькая бабушка. Раньше у нее было все – каменный дом, огород с ухоженными дорожками – свекровь аж соседок водила, чтобы похвастаться. А еще у нее был персиковый сад, на самой границе – в устье шумной горной реки. Урожай в том году выдался невиданный, семья уехала собирать, а Мариам осталась варить сироп для персикового джема. Кто бы мог подумать, что война начинается стремительно и исподтишка, кто же мог это знать.

Земли на границе отвоевали лишь к концу зимы. Растерзанные останки солдаты похоронили в персиковом саду. Мариам пришла туда, легла на могильный холмик и не вставала. Нашли ее к утру, продрогшую до костей, с оледенелыми ресницами и губами. Выхаживали долго, выходили. К тому времени персиковый сад снова отбили, и он остался по ту сторону границы навсегда.

Каждый день Мариам похож на другой, словно камни в четках ее старенькой бабушки – подмести двор, полить огород, растопить печь, замесить тесто, испечь хлеб. Она делает все тщательно, на совесть – окна моет в трех водах, белье бережно крахмалит и гладит, непременно обкладывает сушеной лавандой – от вездесущей моли.

У каждого своя правда. У Мариам она простая, проще не бывает: как бы ни болела душа и как бы ни плакало сердце, береги в чистоте

тот лоскут мира, что тебе доверен. Ведь ничего более для его спасения ты сделать не можешь.

Туманы



Пашоянц Сона рисует туманы своего детства. В Берде они особенные: непроницаемые и густые, низвергаются с гор, словно молочные реки – вперед, вперед, ко дворам, к калиткам, к беззащитным шушабандам. Кажется, навались плечом – стекла разлетятся в осколки, и тогда туманы, проникнув в дома, растворят их без следа: был Берд – и нет его.

Пашоянц Сона рисует туманы своего детства. На ее картинах они пахнут одиночеством и тоской. Они не просто искажают пространство,

а меняют его суть – еще вчера до соседского дома можно было за один вдох-выдох добежать, а теперь кажется, что это займет вечность. Бердские туманы не умеют считаться со временем – они существуют в том измерении, где его нет.

У Пашоянц Соны большая семья: мать, отец, три старшие сестры, младший брат. Мать преподает в школе русский язык и литературу, отец работает врачом. Когда война в самом разгаре, ему приходится уезжать в больницу под бомбежкой, и никто не знает – доехал он или нет, потому что не дозвониться и не спросить – телефоны молчат.

Каменного здания школы давно уже нет – учиться приходится в промозглых военных палатках. Ни электричества, ни отопления. Зимой такой холод, что дети пишут, не снимая перчаток. Мать потом сидит допоздна, разбирает их каракули – перчатки сильно искажают почерк. В последние дни она пропадает на работе до ночи – готовит открытый урок про Байрона, репетирует со старшеклассниками спектакль. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» – как-то, в отчаянии, спросила Сона. «Нужно жить», – ответила ровным голосом мать.

Живут. Спят в прихожей – самой безопасной комнате дома. Отец ложится у входной двери, чтобы, если бомбежка, сразу ехать в больницу. Старшие сестры укладываются по краям расстеленных на полу матрасов, оставляя в центре место для младших. Брат совсем маленький, четыре года, когда Берд обстреливают, он зарывается лицом в ладони. «Может, лучше уши затыкать? От шума ведь страшнее!» – втолковывают ему сестры. Брат прячет лицо в ладони и молчит.

Сона знает о войне много такого, чего не хотелось бы знать: что, укладываясь спать, нужно запереть все двери, а те, которые со стеклянными витражами, завесить пледами, чтобы, если их выбила взрывная волна – не пораниться осколками. Что не нужно просить хлеба, когда его нет – голод не утолишь, а мать снова доведешь до слез. Что нельзя жаловаться на кусачий холод, потому что бывают вещи много ужаснее. Что нельзя плакать, когда боишься, потому что от этого страшней. Живи – словно в тумане – и не ропщи.

Иногда случаются недолгие затишья, но людям каждый раз наивно кажется, что это навсегда. Да и как может быть по-другому, если на заре беспечно поют петухи, в жаркий полдень – цикады, на закате – сверчки. Звезд ночью столько, что думаешь – кто-то накинул на небесный купол рождественскую гирлянду и намеренно не стал ее выключать. Сона

лежит в своей постели – какое счастье лежать не на полу прихожей, а в своей постели – и наблюдает, как по небу катится большой круг луны. Бабушка рассказывала, что луна раньше была очень красивой, но ленивой девушкой, предпочитала работе праздный отдых на берегу реки. Однажды мать попросила помочь ей с хлебом, но луна даже не удостоила ее ответа – любовалась своим отражением в речной волне. И тогда обиженная мать кинула в нее ком теста и попала в лицо. Луна упала в реку, и та вынесла ее на небо. Отныне, в наказание за лень, она вынуждена светить тогда, когда другие люди отдыхают. И, если приглядеться, можно различить на ее лице отпечаток засохшего теста.

Сона засыпает далеко за полночь, дождавшись, когда обиженный лик луны скроется за карнизом крыши. Ночь милосердна и тиха, в небе о чем-то шепчутся звезды, мир убаюкивает колыбельная сверчков...

Взрыв раздается совсем рядом, под стенами дома. Сону сметает в единственный безопасный угол комнаты. Она лежит на спине, обняв себя руками, а в воздухе кружатся лохмотья обугленных штор. Они падают на нее черными хлопьями сажи, и единственная мысль, которая вертится в голове, – как можно их различить в такой крошечной темноте. С того места, где лежит Сона, видно ковш Большой Медведицы и белую звезду на ее хвосте.

Утром выглядывает солнце. Берд переливается в его лучах рождественской гирляндой – он устлан, словно ковром, осколками выбитых стекол. Их так много, что кажется – под покровом ночи сюда свезли все окна мира и разом их расколотили. Отец приезжает из больницы лишь для того, чтобы удостовериться, что все целы. Присаживается на минуту, чтобы передохнуть, – и проваливается в беспробудный сон. Сона гладит его по щеке – он зарос так, что еще немного, и будет совсем бородатый. Старшие сестры затягивают окна полиэтиленовой пленкой – в блокадном районе стекла не достать, да и смысл их вставлять, если выбьет при следующей бомбежке!

Пашоянц Сона гладит обожженной ладонью спящего отца по щеке. Она уже рисует Берд – тот, который останется с ней навсегда. Она станет рисовать его на протяжении долгих лет, когда любой шорох будет доводить ее до панической атаки: «Послевоенный синдром», – разведет руками врач. Когда она, здоровая красивая женщина, узнает, что, скорее всего, не сможет иметь детей: «С девочками, которые в детстве проходили через тяжелые потрясения и особенно голод, такое

случается», – покачает головой другой врач. Когда она откажется ехать с выставкой в далекий Нью-Йорк: «Боязнь больших пространств – одно из последствий стресса, пережитого во время войны», – пояснит ей третий.

– Как же мне быть? – спросит Сона у четвертого.

– Ты умеешь рисовать. Попробуй нарисовать свой страх. Вдруг тебе удастся таким образом справиться с ним.

Пашоянц Сона рисует Берд: перепуганные дети, израненные женщины, беспомощные мужчины – в объятьях безмолвного безразличного тумана.

Пашоянц Сона борется со своими страхами, как умеет, – сама.

Пашоянц Сона. Моя младшая сестра.

Вместо послесловия

«Жизнь всегда побеждает смерть», – говорила бабушка Тата. Я была маленькая, не очень понимала, что она имеет в виду, пожимала плечами, вздыхала. Мне казалось – это такая игра: взрослые должны произносить скучные и неясные слова, а дети слушать, не вникая в смысл. Потом Таты не стало, и с ее уходом закончилось детство. А потом случилась война и много такого, что хотелось бы вычеркнуть из памяти раз и навсегда.

Но я этого сделать не смогла.

Один из рассказов сборника – о моей младшей сестре Соне. Говорить о том, что является болью твоей семьи, – непростое испытание, потому дался он мне с большим трудом. Я сомневалась, брать его в книгу или нет, спросила совета у Соны. Она сказала, что это вовсе не ее история. Это история той войны, которую нам не посчастливилось застать. И об этом нужно обязательно писать, в надежде на... – здесь сестра оборвала себя на полуслове.

– В надежде на что? – спросила я.

– Что сомкнутся разорванные объятия? – с сомнением ответила она.

Писать о войне – словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь – предашь самое себя.

Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось.

Недавно в нашей семье случилась огромная радость – у сестры родился сын. Разорванные объятия сомкнулись, слова Таты обрели свой истинный смысл.

Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее несокрушимая правда.

В это нужно обязательно верить, чтобы дальше – жить.

Примечания

1

День посещения могил.

2

Носки из грубой пряжи.

3

Мурут – армянская деревня в АЗССР.

4

Сладкий хлеб.

5

Кукарекнущая курица считается вестником большой беды.

6

Бабушка (*арм.*).

7

Армянский волкодав, порода собак, ведущая свое происхождение с Армянского нагорья.

8

Возьму твою боль (*арм.*).

9

Прабабушка (*арм.*).

10

Застекленная веранда.

11

Проститутка (*азерб.*).

12

Крнат (дословно) – человек с отрубленными руками (арм.).

13

Просторечное обращение к девочке или девушке.

Здесь и далее цитаты из «Песни песней».

15

Так называемое «время волка», промежуток между полночью и тремя часами.

16

Господин (*арм.*).

Ваан Терьян (1885–1920) – армянский поэт и общественный деятель. Прочитано его стихотворение «Воспоминания о Лазаревском институте» в переводе Т. Спендиаровой.

Ругательство, в переводе с фарси: «змеиный яд».

19

Мифологическое существо, великан.

Бог (*арм.*).

Жертвоприношение.

Город в АЗССР, основанный немцами бывший Еленендорф, переименованный в честь азербайджанского революционера Ханлара Сафаралиева в Ханлар.

Тушеное мясо, которое заливают топленным маслом и хранят в холодном погребе.

24

Блюдо из тушёного мяса, лука, помидоров и болгарского перца.

25

Братик (*груз.*).

Крест-камень.

27

Дядя (*арм.*).

Трубки.

Войлочные крестьянские шапки.

Кожаная крестьянская обувь.

31

Лущеное пшеничное зерно.

Жареная молотая пшеница.

Садись рядом, дочка (*азерб.*).

Мер – мать (*просторечное*).

Отклик на зов, что-то вроде «аюшки».

36

Хорошо (*арм.*).

Тетя (*арм., диал.*).

Здоровье (*арм., простореч.*).

39

Балбес (*арм.*).

Майис – май.

Вайис – от слова «вай», то есть «ох».

41

Богатырь, тот, кто обладает большой силой.

42

Ты кто? (*Арм.*)

Болезнь (*арм., простореч.*).

Диванные подушки-валики.

Высокие сановники при дворе на Востоке.

Table of Contents

[Наринэ Абгарян Дальше жить](#)

[Вместо предисловия Заназан](#)

[Мерелоп](#)

[Колготки](#)

[Узелок](#)

[Багардж](#)

[Одиночество](#)

[Жить](#)

[Пахлава](#)

[Гулпа](#)

[Ковер](#)

[Долина](#)

[Ожидание](#)

[Лето](#)

[Молитва](#)

[Возвращение](#)

[Тост](#)

[Хачкар](#)

[Гроза](#)

[Голод](#)

[Кружева](#)

[Стадо](#)

[Прогулка](#)

[Ботинки](#)

[Выбор](#)

[Сердце](#)

[Молчание](#)

[Смех](#)

[Бессмертник](#)

[Вина](#)

[Спасение](#)

[Туманы](#)

[Вместо послесловия](#)

[Примечания](#)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

[38](#)

[39](#)

[40](#)

[41](#)

[42](#)

[43](#)

[44](#)

[45](#)